НОВАЯ РОССИЯ



ФЕВРАЛЬ

1 ★ 9 ★ 2 ★ 6

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1926 год

НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НОВАЯ РОССИЯ

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПОД РЕДАКЦИЕЙ И. Г. ЛЕЖНЕВА.

Журнал „НОВАЯ РОССИЯ“ дает в каждой книжке исчерпывающую характеристику политической, общественной и культурной жизни истекшего месяца.

В ЖУРНАЛЕ УЧАСТВУЮТ ЛУЧШИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ И НАУЧНЫЕ СИЛЫ СССР. В ПРОШЛОМ В ЖУРНАЛАХ „НОВАЯ РОССИЯ“ и „РОССИЯ“ БЫЛИ НАПЕЧАТАНЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ АВТОРОВ:

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА и ПОЭЗИЯ:

Адалис, Адуев, И. А. Аксенов, П. Антокольский, Арго, Атана, Андрей Белый, Т. Береговая, Бломквист, Конст. Большаков, Мих. Булгаков, Максимилиан Волошин, А. С. Грин, А. А. Демидов, Л. Добычин, Евг. Замятин, Е. Д. Зозуля, Вал. Катаев, Н. П. Катков, Б. Келлерман, Мих. Козырев, С. Д. Кржижановский, М. А. Куэмин, Б. Лапин, Вл. Ленский, Бен. Лившиц, Вл. Лидин, О. Мандельштам, О. Миртов, И. И. Михайловская, С. Нельдихен, Ник. Никитин, Ев. Николаева, Л. Островер, Над. Павлович, Вал. Парнах, Бор. Пастернак, Дм. Петровский, Бор. Пильняк, Елиз. Полонская, М. М. Пришвин, Ал. Ремизов, Всев. Рождественский, Ив. Рукавишников, Бор. Садовской, Л. Н. Сейфуллина, С. Н. Сергеев-Ценский, Юр. Слезкин, Мих. Слонимский, Андрей Соболь, И. С. Соколов-Микитов, Ник. Тихонов, А. Н. Толстой, К. А. Тренев, Конст. Федин, О. Форш, Мар. Шагинян, Г. Шенгели, М. М. Шкапская, Илья Эренбург.

КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, КРИТИКА:

Проф. С. А. Адрианов, И. А. Аксенов, проф. И. Г. Александров, Н. С. Ашукин, Андрей Белый, М. И. Боголепов, А. Ф. Бонч-Осмоловский, Георг Брандес, Як. Браун, А. А. Брусилов, Д. И. Выгодский, Максимилиан Гарден, Э. Ф. Голлербах, А. Г. Горнфельд, Л. П. Гроссман, И. Груздев, С. Гуль (Христиания), А. Дезен, А. Д. Дикий, (МХАТ 2), Евг. Замятин, С. Д. Кржижановский, А. Р. Кугель (Homo Novus), проф. А. М. Ладыженский, И. Лежнев, Як. Лившиц, Вл. Лидин, Л. И. Логвинович, проф. П. И. Люблинский, Ф. Малов, О. Миртов, С. Нельдихен, А. Р. Палей, Г. Поршнев, Адольф Рифлинг (Берлин), Н. Н. Русов, Ю. В. Соболев, Стрелец, Ив. Стрельников, М. П. Столяров, А. А. Тамарин, проф. В. Г. Тан-Богораз, проф. В. И. Терновский, проф. Н. В. Устрялов (дискуссионно), проф. Ю. И. Фаусек, О. Форш, проф. Я. И. Френкель, проф. О. Д. Хвольсон, М. А. Чехов (МХАТ 2), М. С. Шагинян, Вик. Шкловский, П. Е. Щеголев, Карл Эйнштейн (Германия), Илья Эренбург.

„НОВАЯ РОССИЯ“ по типу приближается к англо-американским журналам и содержит более 7 листов печатного материала.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 год 5 р. — к., на 3 месяца 1 р. 35 к.
„ 6 мес. 2 р. 60 к., „ 1 „ — р. 50 к. } **12 кн.**

Подписка принимается Конторой журнала:
Москва, Советская площ., 28, телефон 1-76-81,
И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ КОНТОРЫ ПО ПРИЕМУ ПОДПИСКИ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ СССР.

Рукописи и книги для отзыва направлять в адрес редактора: Б. Полянка, 15, кв. 7, тел. 3-06-03.
Рукописи размером менее печатного листа редакцией не сохраняются.

См. объявление после текста на обложке.

НОВАЯ РОССИЯ

№ 2

ФЕВРАЛЬ—1926

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ — ЭКОНОМИКИ — ОБЩЕСТВЕННОСТИ — ЛИТЕРАТУРЫ — ИСКУССТВА — КРИТИКИ

РОСТ ТРУДНОСТЕЙ РОСТА.

Февраль для наших хозяйственных и политических штабов был месяцем счетной страды. Повод: измерение просчета. Задача: изменение обстановки, в последнее время довольно затруднительной. Надо было докопаться до корня хозяйственных зол и бед, спешно прописать рецепты, безотлагательно приступить к лечению.

Результаты нового подсчета, порожденного просчетом, неожиданны и даже изумительны. Оказывается, непредусмотренный ранее Госпланом дождь снизил урожай лишь на 5%; зато фруктов, овощей и технических культур народилось—также непредусмотрено Госпланом—столько, что валовая сумма урожая превышает первый подсчет на 153 милл. руб. А всего урожай весит около 11, 6 миллиардов довоенных рублей.

Просчет, если новые цифры верны, все-таки остается: на дождике, на картошке, на общей сумме. „Ни один хозяйственный план,—читаем в новой записке Госплана,—в условиях господства рыночных отношений, не может претендовать на абсолютную непогрешимость. Стопроцентное выполнение плана может быть только случайностью. Но и при наличии этих ограничений сплошь и рядом имеют место случаи, когда в процессе выполнения план превращается в свою противоположность". Или—в просторечии:—„либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет". По лотерее выпал дождик, по лотерее же выкатилась картошка и сбалансировала „метеорологические явления" даже с лихвой.

Урожай оказался не хуже, а лучше, чем ожидалось. А ежели так, то, задним числом домекая, почему было бы и впрямь не выпустить в августе, сентябре и октябре свежих денег на 331 милл. руб? Разве при этаком урожае новая порция бумажных, но твердых денег не должна была соответствовать нуждам оборота? Ведь летние расчеты Госплана на урожай оказались преуменьшенными—почему же сейчас летние расчеты эмиссионных возможностей государства Госплан считает преувеличенными?

Посмотрим, каковы финансовые трудности и откуда они, действительно проистекают.

Размеры урожая не были преувеличены. Земля не подвела; она выполнила возлагавшиеся на нее надежды полностью и даже с лишком; деревня справилась со статистическим „заданием" более, чем на 100%. Преувеличение, просчет касаются только возможностей города реализовать этот урожай.

Деревня дала продукцию свыше одиннадцати с половиной миллиардов довоенных рублей. Город через государственные и кооперативные хлебозаготовительные организации в результате 4-месячных усердных трудов (до февраля) заготовил менее, чем на полмиллиарда червонных рублей—всего на 482 миллиона. При таком переизбытке сельскохозяйственных товаров в деревне цены не снизились, а, напротив того, повысились почти на двугривенный: в прошлом году платили в среднем по 86 коп. за пуд хлеба; в нынешнем году—по 1 р. 04 коп.

Заготовки хлеба протекали в общем слабо, но еще слабее шел вывоз сельскохозяйственных товаров за границу. За первую четверть нынешнего хозяйственного года вывезено всего 53 милл. пудов—в то время, как в первой четверти прошлого года, при урожае много худшем, мы вывезли почти 78 милл. пудов. Льна вывезено менее трети прошлогоднего. Недовывоз по хлебопродуктам и льну, по самым скромным подсчетам, достигает 52 милл. рублей.

Мы видим, как отстает экспорт. А импорт, на который затрачивается наличная валюта,—он тоже отставал? Нет. Он значительно возрос, почти удвоился. Прошлый хозяйственный год мы, как известно, закончили с пассивом по торговому балансу с заграницей, т.-е. с перевесом ввоза над вывозом в 140 милл. рублей. Первая треть нового хозяйственного года (с октября до февраля) дала нам новый, дополнительный пассив в 47 с лишним миллионов. Это значит, что, несмотря на блестящий урожай, наши валютные запасы еще ущербились. А ведь урожай—наша валюта.

Одновременно в банках наблюдалась утечка денег с текущих счетов. Подсчет, произведенный по шести центральным банкам, показал, что приток денег составил лишь седьмую часть оборота. Шесть

седьмых оборота составляет расход банков по учетно-ссудным операциям. За три месяца из банков утекло, в переводе на абсолютные цифры, 216 милл. рублей.

Если переживаемые нами финансовые затруднения свести к нескольким узловым цифрам и моментам, то вот они: перерасход валюты за треть года—47 с лишним миллионов рублей в добавление к перерасходу прошлого года в 140 миллионов, недовывоз по хлебу и льну за четверть года—в 52 миллиона, выпуск свежих денег, в кладовые Госбанка крайне туго возвращающихся,—на сумму 331 милл. руб. Все это, конечно, ослабляет обеспеченность червонца, снижает его покупательную силу, что сказывается в повышении хлебных заготовительных цен на 18 коп., что непрерывно подтверждает бюджетный индекс статистики труда. Непрерывно растут индексы и оптовый и розничный, вздымаются цены и сельские и городские.

Финансовое напряжение страны усугубляет частный капитал, что покрупнее. Бывший торговец-оптовик оказался сейчас не у дел. Он выключен из торговой цепи. Синдикаты снабжают кооперацию и, по разверстке, розничника через голову оптовика. Да и товаров мало, да и налоговые заторы отпугивают. Посему оптовик прикрыл свои лабазы в Ветошном ряду и бросился в атаку на валютный рынок, как встарь, как во время спекулятивного ажиотажа на червонце. Недаром коллегия Наркомфина свидетельствует об „усилившемся спросе бездействующих в сфере товарного оборота частных капиталов на золото и инвалюту“.

В обстановке перекредитования хлебозаготовителей и промышленности, переизбытка на рынке бумажных денег, вздувшихся цен, и сельскохозяйственных и промышленных, отлива коммерческих вкладов из банков, утечки иностранной валюты,—может ли в этой обстановке Наркомфин не сжимать кредиты, а государство не сокращать свой бюджет?

Переизбыток денег в каналах обращения дал повод говорить об инфляции. Чтоб привести положение в равновесие, Наркомфин должен изъять излишние деньги из обращения, оттянуть их обратно в кладовые Госбанка, вступить на путь дефляции. То состояние, которое мы сейчас переживаем в области финансов, можно определить, как одновременную инфляцию и дефляцию. Всасывающий насос дефляции уже работает полным ходом, но в отдельных участках хозяйства, раньше всего в крестьянстве, держатся еще большие скопления необращающихся денег. Они-то и создают инфляционные пробки в денежных каналах и тормозят циркуляцию крови в народно-хозяйственном организме.

Мы видим: финансовые узлы завязаны в деревне. Развязка их должна быть там же.

Деревня владеет урожаем свыше чем в $11^1/_2$ миллиардов; выручка по одному лишь хлебу, заготовленному государственными и кооперативными организациями, дала деревне за четыре месяца чистыми (после покрытия сельхозналога) около 400 милл. рублей. *Сельское хозяйство выросло за год на 26,5 проц.* В этом—наш огромный успех. Худо лишь то, что капиталы деревни остаются мертвыми, что деньги упрятаны по кубышкам, а хлеб лежит под спудом, что эти богатства отъединены от народно-хозяйственного целого, не участвуют в плодотворном обмене веществ, создают инфильтрат, который давит на рядом лежащие сосуды хозяйственного организма, вызывая в них болезненное нарушение равновесия.

Откуда же эта застоявшаяся кровь? Что происходит в деревне и чего она хочет?

Деревня сменила лапти на сапоги. Это—само по себе глубочайшая революция. Одевать и обувать „низшие сословия“—одно; одевать и обувать граждан—совсем другое. Мы не устаем вожделеть довоенных норм, и в хозяйственном планировании из довоенных потребностей исходим. Но за последнее десятилетие резко переменился человеческий материал страны в качественном отношении, вырос новый потребитель. Как же широко надо развернуть промышленность на основе еще не созданного нового оборудования, чтобы полностью удовлетворить многократно возросшие потребности.

По данным ЦУС'а (см. „Народное хозяйство СССР в цифрах“), население нашей страны в 1925 г. составляло 140 милл. чел; из них сельского—117 милл. и городского—23. Стало быть, пять шестых всего населения—крестьяне. Из каждых ста человек населения 84—деревенские жители. 16 горожан должны обслужить товарами 84 сельчан, удовлетворяя их спрос не по царскому времени, а по новому, революционному, т.-е. качественно повышенному в десятки раз.

Двух вещей требует деревня: сапог для ног и городской работы для рук. Но ведь и то и другое связано с ростом промышленности, а он возможен лишь при увеличении экспорта, при наличии денег и машин. Почему же деревня придерживает хлеб и припрятывает деньги? Откуда же этот молчаливый многомиллионный заговор деревни не только против города, но, в сущности, и против самой себя, против всей страны в целом?

Одна причина: товарный голод. Город, унаследовавший слабое машинное оборудование, к тому же износившееся, не в состоянии удовлетворить положительно стихийный рост деревни. А вновь и долгосрочно кредитовать город и его промышленность—пока это она еще вырастет до нужных пределов!—деревня не намерена. Пойми, мол, как поймешь, изворачивайся, как знаешь. Об этом предупреждал многократно в своих речах Ленин: деревня кредитует, но беспредельно кредитовать не будет, не станет, если не научимся удовлетворять ее рыночный спрос.

Это—крайне существенная причина крестьянской сдержанности, но не единственная и—как это ни странно—может быть, даже и не главнейшая. Важно другое: опасение попасть в изгои родной деревни, быть зачисленным в порочную категорию кулака.

В самом деле, как знать, какой критерий будет положен городом в основу определения понятия—кулак. *Может быть, кулака будут распознавать по инвентарю.* „Но если так,—рассуждает мужик,—зачем же я стану обзаводиться молотилкой! Выгадаешь целковый, а прогадаешь все“. Может быть

кулака будут распознавать по наличному скоту. Исключена сейчас эта возможность? Нет, не исключена. Она-то и останавливает иной раз хорошего хозяина от покупки новой лошади, новой коровы. Дешевле призанять у соседа на нужный денек лошадь,—много ли ему заплатишь? А наем рабочей силы? Ведь это уж наверное сочтут за признак кулака. И хозяйственный середняк предпочитает работать большой семьей. У иного 5—7 взрослых сыновей с женами, да столько-то дочерей с зятьями, да детвора,—целый род. Вот и работают сколько выдержит спина,—нет, не спина—спины; на каждую душу—надел, над каждым наделом—спина. Самосильно ведут хозяйство, держат в крепких руках, не дадут подработать да подкормиться соседу-бедняку. Наружу—как будто и нет эксплоатации. А по сути—зверская эксплоатация семьи, рода, каторга сверхсильной работы, надрыв животов. Бедняк же голодает за частоколом маленького рабьего царства,—нет, его не эксплоатируют. Середняк, что покрепче, предпочтет продать свой хлеб частнику,—там не запишут, а в госконторе—все возьмут на бумажечку, все учтут, чего доброго и в кулаки зачислят,—там иди, доказывай. А ежели продавать хлеб в госконтору, то лучше где подальше,—не беда погнать лошадку и лишние 60—70 верст, все спокойнее. Немножко тут продать, немножко там, немного частнику, а остальное—придержать. Опасается хозяин сберегательной кассы,—*поди и в кубышке не пропадет! Заем если* купит, то в обрез: для уплаты сельхозналога. Семь раз отмерит раньше, чем пай в кооперации взять. Прибедняется мужик, хоронится, ходит стеночкой,—как бы чего не вышло.

Да не будет все это бытописание понято, как ратование за кулака, мироеда. Речь идет лишь об узаконении, о легализации более высокого жизненного и технического уровня крестьянского хозяйства, во всей своей массе—и раньше всего середняцкой—значительно поднявшегося и за годы революции и, непосредственно, после хорошего урожая. Речь идет о переводе резолюций партийного съезда на эмпирический и понятный мужику язык фактов и цифр. Общие словеса о развязывании, о подъеме производительных сил деревни—до крестьянина слабо доходят.

Пока мы сами для себя не уяснили, что́ есть кулак, пока вслед за нами в потемках блуждает деревня,—мы дальше благих пожеланий не сдвинемся. А ведь общая наша забота—действительно поднять крестьянство на высшую производительную—культурную и техническую—ступень, приобщить отъединенную массу сельскохозяйственных богатств к общему обороту, посылать денежки в деревню так, чтобы они обратно дорогу нашли.

В больном вопросе о кулаке нужна ясность, ясность и еще раз ясность.

Пока этой ясности нет, а товарный голод есть—Наркомфин пошел и не мог не пойти на жесткий зажим кредитов по всей линии—и промышленной и торговой. Этот зажим, последовательно передаваясь с верхних слоев хозяйства на нижние, в конце концов должен дойти и до деревни. Но когда это случится и какой реальный даст результат? Пока что зажим отражается на промышленности и—крайне болезненно. И из многих уст слышишь: „не бьем ли мы слишком больно самих себя?“.

Обратимся к промышленности и ее затруднениям.

Наличный основной капитал, наличное машинное оборудование близко к своему исчерпанию. Старый инвентарь конструктивно устарел, физически изношен, расшатан, доработан, и не за горами уже то время, когда придется послать нашего старого железного коня на живодерню, т.-е. попросту пустить на слом.

У нас едва ли отдают себе отчет, до чего остро стоит вопрос о переоборудовании промышленности. Почитайте экономическую прессу—самую нужную по нашему времени—побеседуйте с руководителями нашей промышленности, потолкайтесь по трестам, походите по заводам, поезжайте на места, или, хотя бы, порасспрошайте обильно наезжающих из провинции в Москву ходоков,—и вам откроется изумительная картина.

Как в былое время, до революции, над деревней стоял сплошной стон:

— Земли!.. Земли!..

Так теперь над городами, над промышленными центрами. над фабриками и заводами стоит стон:

— Машин!.. Кредитов!..

И тут, в чудесной новизне стона, старина *слышна: та же историческая трудность рожде*ния. Стон перекатывается волною с Донбасса на Москву, с Москвы на Урал, с Урала вновь к Днепру.

И мы читаем компетентное свидетельство ц. к. по перевозкам: работа ж. д. транспорта подходит к пределу своей технической мощности. Предел уже достигнут, а перевозная способность жел. дорог недостаточна даже на сегодняшний день: мы переживаем транспортные затруднения уже сейчас, циркуляция крови по жел. дорожным артериям и сейчас испытывает перебои; что же будет дальше—при неизбежном, стремительном росте! Мы узнаем, что при существующей технической базе Югосталь не в состоянии выполнить производственную программу более, чем на 86 проц..—между тем при обновлении оборудования производство чугуна могло бы быть расширено до 150—170 милл. пуд. То же с углем, то же с другими отраслями.

Исчерпан основной капитал, крайне недостаточны капиталы оборотные. Наличность жидкая, кредиты урезаны, производительность труда снизилась, зарплату, составляющую крупнейшую статью расхода, надо выплачивать аккуратнейше, как в банке, сырье в кредит не получишь,—поди-ка, достань наличные!—вот и вертись.

Иные горячие головы договорились:

— Либо кризис денежной системы, либо кризис оборотных капиталов в промышленности.

Какой же здесь выход?! Что сова о пень, что пень о сову—все сове больно.

Но выход должен быть найден и будет найден. Народно-хозяйственный организм крепок—вспомним $11^1/_2$ миллиардов урожаю. Крепок организм,—

так страшна ли ему корь? При помощи ли врачей или несмотря на них, он отстоит себя. А диспропорции? Отроческому возрасту всегда свойственны несуразно, непропорционально большие конечности.

Рост несомненен. Перспективы блестящи. Но это все в будущем, а живем мы текущим месяцем, кварталом, полугодием. Довлеет дневи злоба его. В тугом переплете трудностей, нам, горожанам, начинает казаться, что во всем повинна деревня, слепой громадой хлебов, людей, рыночного спроса и припрятанных денег застлавшая горизонт.

Так ли действительно? Деревня ждет товаров, но еще более ждет нашего ясного слова по самому больному для нее вопросу. С той стороны горизонта, где залегла деревня, кажется, что мы, город, во всем повинны.

Никогда еще так остро не стоял вопрос о смычке города с деревней, как сейчас. Никогда история столь повелительно не требовала от нас воплощения завета вождя.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ЮБИЛЕЙ ДЕНЕГ.

М. БОГОЛЕПОВ.

В феврале текущего года вспомнили о том, что прошло два года со дня проведения денежной реформы. Это юбилейное воспоминание невольно потянуло мысли к более старым датам, хотя и не засыпанным еще хронологической пылью, но уже подернутым дымкой забвения. В быстро движущемся калейдоскопе дней, событий и настроений недавние факты, полные еще внутренней и внешней связи с сегодняшним днем и его злобой, как то быстро уходят в архив, и можно опасаться, что мы очень торопливы со сдачей дел в архив, и поэтому не извлекаем в должной мере тех уроков опыта, которые нам так полезны и так необходимы.

В области денежного обращения счет событий мы теперь ведем, главным образом, с эпохи денежной реформы, т.-е. с весны 1924 г. Даже осень 1922 г.—время рождения червонца—как-то затмилась в сознании памятью о феврале 1924 г.—времени рождения современного казначейского билета. Но по существу дела для того периода нашей истории, который принято называть новой экономической политикой, историю денег следует начинать не с казначейского билета и не с червонца, а с знаменитого совзнака, на костях которого, можно сказать, на крови которого („агония совзнака“)—вырос и червонец, и билет, да и сам нэп не может не испытывать благодарности к совзнаку, так как и он пожил за счет его соков.

Министр финансов директории Рамель в своем докладе Совету Старейшин 1 февраля 1797 года, написал следующие слова о знаменитых французских ассигнациях: „Ассигнации сделали революцию; они привели к уничтожению сословий и привиллегий; они опрокинули трон и создали республику; они вооружили и снарядили грозные колонны, пронесшие трехцветное знамя за Альпы и Пиренеи; им мы обязаны нашей свободой“. Преувеличенно, но верно. И наш совзнак, от которого все с такой радостью отделались весной 1924 г., заслуживает хорошей тирады, сопровождающей его уход во всепоглощающую пучину истории.

До нашей революции французские ассигнации были классическим примером обесценения денег. Об этом мы все с большим интересом читали как в истории революции, так и в учебниках политической экономии. Но наш совзнак поставил такой рекорд, который сделал цифры французской революции маленькими и бледными. На самом деле, нас раньше поражало сообщение историков о том, что обед и ужин Комитета Общественного Спасения 26 октября 1795 года стоил 5.660 ливров; но что значит эта цифра перед тем фактом, что наши газетчики и папиросники на улицах Москвы и других городов исчисляли свои выручки в миллиардах, и миллионы рублей считали мелочью. По подсчету упомянутого выше Рамеля, максимальная цифра ассигнаций в обращении не превосходила 37.147 миллионов ливров. В истории совзнака записаны цифры другого порядка. В эпоху совзнака такие прилагательные, как „астрономический“ и „катастрофический“, были самыми ходовыми, привычными выражениями. Помнится, один академик-математик в ту пору обратился к нам с вопросом: „до каких же пределов может дойти обесценение денег?“—и на наш ответ—„до пределов способности к счислению“, математик заявил; „тогда нет границ падения ценности денег!“. И на самом деле, попробуйте быстро вслух прочитать следующую цифру:

1.994.464.454.000.000

Эта цыфра выражает количество рублей, находившихся в денежном обращении на 1 января 1923 г.

Для контраста укажем, что на 1 января 1926 г. количество рублей в денежном обращении составило всего только

1.269.300.000

Между этими двумя цифрами лежат три года, и в этом же кратком историческом мгновении уместилась целая полоса нашей экономической политики. Но не забудем, что выписанная выше „астрономическая цифра“ достигнута уже в условиях и обстановке новой экономической политики.

Новая экономическая политика началась и протекала в условиях совзначного обращения. Из пяти лет нового периода три года были окрашены в совзначный цвет. Отсюда видно, как тесно история совзнака связана с историей новой экономической политики. О содержании и значении этой связи нужно было бы написать целую книгу, которая должна была бы показать и положительные, и от-

рицательные заслуги совзнака в современной истории. Весьма ошибочно обычное представление о падающих бумажных деньгах, видящее в них только одну теневую, мрачную сторону и забывающее, что для известного момента и при известных условиях падающая валюта является единственным выходом из положения.

Совзнак был чужим для новой экономической политики. Идейно он целиком лежал в предшествующем периоде революционных бурь и гражданской войны. Наступление новой экономической политики предрешало судьбу совзнака, и недаром первые три года новой экономической политики были окрещены, как период агонии совзнака. Сначала умирание совзнака искусственно задерживалось, а затем оно было несколько ускорено. Когда цифра совзнаков в обращении достигла астрономического выражения, совзнак был очень похож на отработанный пар той машины, которую называют историей. Но ведь и в том периоде, для которого совзнак был создан, он не считался таким благоприобретенным имуществом, с которым нужно обращаться бережно. Наоборот: совзнак был создан для более или менее быстрого его изничтожения. Таким образом, про историю совзнака можно сказать, что „нет повести печальнее на свете“.

Откуда получилось самое название „совзнак“? Оно было создано декретом Совнаркома от 4 февраля 1919 г., в силу которого были выпущены в обращение „расчетные знаки“. В основу этого нового наименования денежных знаков была положена мысль того времени о том, что государственная власть намерена придать новое значение деньгам и в конце концов вытравить у денежных знаков их денежный характер. Стоит бело вспомнить факты того времени. Взимание налогов было приостановлено постановлением ВЦИК от 3 февраля 1921 г. За год перед тем Наркомфину было поручено разработать технические мероприятия по отмене платы за почтово-телеграфные услуги, за телефон, водопровод, электричество, квартиры, продукты, за переезды по железным дорогам, водным путям и т. д. и т. д. В самом конце 1918 г. всероссийский съезд совнархозов постановил, что „искоренение частных финансовых учреждений, концентрация основных отраслей производства в руках государства и сосредоточение распределения в ведении государственных органов являются достаточным основанием для последовательного устранения в хозяйственной жизни денежного обращения в тех размерах, в каких они были до сих пор“. „Бухгалтерские записи без участия денежных знаков“ были рекомендованы, как единственный способ ведения дел национализированными предприятиями. Наркомфин превращался в „центральную бухгалтерию пролетарского государства“. Всякие ограничения в отношении выпуска новых денег были уничтожены, но в то же время хранение денег в кассах государственных и кооперативных учреждений, а также в карманах частных лиц было ограничено весьма скромными размерами. Так, напр., уже при повороте на новый курс кооперативному предприятию разрешалось иметь в кассе денег не более, как на 200 руб. золотом, или по тогдашнему счислению на 10 милл. руб.

В логическом соответствии с этим мерами проводилось подавление и изничтожение вольного рынка, как последнего прибежища, где могли бы понадобиться денежные знаки, хотя бы и переименованные в расчетные, или в просторечии—в совзнаки.

В результате, несмотря на колоссальную в номинальном выражении эмиссию новых денежных знаков, реальная ценность всей необозримой денежной массы быстро сокращалась и достигла удивительно низкого уровня. К концу 20 года она составила всего 83 млн. руб., к концу следующего года она упала еще ниже—71 млн. руб., падая в июле этого года до особенно удивительного размера—29 млн. руб. И даже к концу 1922 г., т.-е. к концу полного года новой экономической политики, реальная ценность всей денежной массы достигла только 90 млн. (по всероссийскому индексу статистики труда).

Новая экономическая политика начала с восстановления прав денег на существование и обращение. Были изданы соответствующие декреты. Далеко зашедший процесс натурализации экономических отношений начали сменять денатурализацией. Хозяйственный расчет и вольный рынок, а также государственный бюджет и налоги потребовали быстрого насыщения каналов народного хозяйства денежными знаками. На эту работу выслали тот же самый совзнак. Он ринулся на эту большую работу несметными массами. Приведем две-три цифры. В декабре 1921 г. новых денег было выпущено 7.694.186.000.000 руб., в декабре следующего года—515.245.663.000.000 руб. (по счету 1921 г.). Другими словами: денежная масса в первом полугодии 1922 г. увеличилась в 18 раз, во втором—в 6 раз. Пока этого не было проделано, никто бы не мог поверить, что это вообще можно сделать. Товарные цены порою росли быстрее роста денежной массы, что показало трудности процесса денатурализации. В общем итоге в первый год новой экономической политики денежная масса выросла в 136 раз, а товарные цены поднялись в 72 раза; между тем как в предшествующем году—денежная масса выросла в $4^1/_2$ раза, а товарные цены в 10 раз. Это показывало, что влияние новой экономической политики стало уже сказываться довольно заметно.

Всем памятен тот хаос денежного обращения, который водворился при сильном эмиссионном использовании совзнака в первые годы новой экономической политики. Из совзнака выжималась вся его сила и направлялась на служение новым целям, но в то же время совзнак путал все расчеты и лишал возможности с уверенностью построить расчет хотя бы на один месяц. Кончилось дело тем, что нужно было прибегнуть к каким-либо фикциям для того, чтобы не выражать экономических отношений в знаках, значение которых изменялось чуть ли не в течение одного часа. Прибегли к золотому исчислению, к товарному рублю, к золотому рублю довоенного времени и т. д. Валютный хаос от этого укрывательства за фикциями не уменьшался, а увеличивался. Вокруг падающей валюты началась напряженная борьба из-за переложения „эмиссионного налога“ с плеч на плечи. Кончилось дело тем, что НКФ, получавший „эмиссионный доход“, на курсовых потерях при движении денег из касс в кассы

терял если не больше, то и не меньше этого дохода.

Фикции твердых счетных единиц помогали некоторой твердости в расчетах и были способны усилить позиции отдельных хозяйственных единиц в борьбе за переложение курсовых потерь, но далеко не в полной мере. Кассовую наличность нельзя было застраховать от обесценения при помощи „золотого исчисления". Приходилось искать других выходов. Весьма удобный выход был найден в червонце, в банковом билете, ценность которого стала измеряться в совзнаках. Все получили весьма наглядный показатель обесценения совзнака и вместе с тем способ избежать курсовых потерь. Началась охота за червонцем, который сделался деньгами банков и промышленных предприятий и средством помещения наличности для мелкого обывательского люда. Об агонии совзнака стали следить и судить по движению курса червонца в совзнаках. Каждое утро глаза всех горожан искали в газете курс червонца. В магазинах и в руках покупателей появились особые таблицы, переводящие совзначные числа в червонное исчисление. Каждый в силу необходимости сделался „валютчиком" и был вынужден постоянно заниматься арифметическими вычислениями.

Эпоха сожительства червонца и совзнака представляет весьма большой и практический и теоретический интерес. Вокруг червонца, как около магнита, организовывалась новая жизнь, но соки, питавшие эту жизнь, давал, главным образом, совзнак, при помощи которого вставал на ноги и сам червонец. В конце концов совзнак превратился в разменную мелочь, помогавшую обращаться довольно крупной червонной купюре. Выпуск в обращение транспортных сертификатов в 5 руб. еще более усилил обращаемость червонца, но в то же время сертификат подтолкнул к падению совзнак. Нарастающий темп падения покупательной силы совзнака в значительной мере обесценивал организующую роль в народном хозяйстве червонца, мешая устранению валютного хаоса. Кроме того, в силу, так сказать, экономической географии, червонец сделался городскими деньгами, а совзнак—по преимуществу деревенскими. Такой порядок был и несправедлив и невыгоден для всей экономики, так как в основе того восстановительного процесса, который переживало народное хозяйство, лежало восстановление сельского хозяйства, и ему нужно было дать не больные, а здоровые деньги.

Это обстоятельство в значительной мере ускорило решение судьбы совзнака, который на протяжении своей короткой, но драматической судьбы показал огромную силу сопротивляемости и мог бы прожить несколько долее реформы 1924 года.

Реформа 1924 года, водворившая на место совзнака казначейские билеты, серебряные и медные деньги и завершившая дело, начатое червонцем, покончила с совзнаком, с идеей совзнака и взяла курс на деньги и на правильное денежное обращение. Денежная реформа имела несомненный успех и была необходимым условием дальнейшего возрождения народного хозяйства. Успех денежной реформы в своей основе лежал на факте оздоровления народного хозяйства и быстрого восстановления денежного хозяйства. Если mens sana in corpore sano, то это правило столь же приложимо и к pecunia, к деньгам. Технический секрет успеха денежной реформы заключался в том, что новые деньги стали обращаться неизмеримо медленнее, чем лихорадочно вращавшийся совзнак, от которого все отделывались и никто не хотел задержать у себя в кошельке лишний час. Замедление обращения новых денег сразу увеличило потребность в денежных знаках. Медленное и неполное удовлетворение этой потребности создавало новым деньгам надежную и устойчивую базу, хотя они принадлежат к той же категории бумажных денег, что и советский знак, при помощи которого новые деньги заняли столь твердую позицию.

Проведение денежной реформы значительно оздоровило общехозяйственную атмосферу и придало уверенность поступательному движению процесса народно-хозяйственного восстановления. Государственные финансы, кредитный оборот, взаимоотношения города и деревни,—все это получило от твердых, устойчивых денег новые оздоровляющие импульсы. Червонные и казначейские деньги, формально между собою не связанные, фактически при наличии свободного обмена одних денег на другие по номинальному курсу, представляют единую систему денежного обращения. Нужно констатировать огромный успех новой экономической политики, такой успех, который, с одной стороны, был обязан этой новой политике, а с другой,—сам был залогом ее успеха.

Мы получили такое денежное обращение, которое называется р е г у л и р у е м ы м, ибо оно покоится на бумажно-денежной основе и в то же время держится на твердом уровне. Для успешности поддержания устойчивых денег нужно много условий; среди этих условий следует отметить три основных: здоровое развитие народного хозяйства, положительный платежный баланс в отношении к загранице и соответствие количества обращающихся денег нуждам оборота. Наиболее трудно осуществить последнее условие, так как при восстановительном процессе и при денатурализации народного хозяйства потребность в деньгах ощущается особенно остро, особенно интенсивно, а поэтому всегда есть опасность перенасыщения каналов денежного обращения излишними денежными знаками, т.-е.,—другими словами, всегда есть опасность инфляции, такой болезни, которая обыкновенно входит пудами, а выходит золотниками.

Так как выпуск новых денег совершенно не связан с бюджетными нуждами государства, удовлетворяемыми ныне за счет нормальных источников, то с этой стороны денежному обращению нет угрозы. Ранее же главная причина денежного расстройства как раз шла именно с бюджетной стороны. Но теперь, при сбалансированном бюджете, самым опасным местом оказался другой участок народно-хозяйственного фронта: кредитный. Деньги выпускаются для удовлетворения промышленности и торговли по линии их запросов на кредит для питания оборотных средств. Так как в процессе развертывания промышленности и торговли всегда ощущается недостаток в оборотных средствах, и этот недостаток

может быть и реальным и кажущимся, то опасность денежной инфляции всего легче возникает на почве кредитной экспансии. С другой стороны, если вести денежную политику чересчур осторожно, и поэтому не давать простора для развертывания кредитной работы, то возникает другая опасность, которую теперь называют дефляцией, и которая сводится к тому, что развитие промышленности и торговли идет на тормозах. Если же денежная и кредитная политика будет колебаться между инфляцией и дефляцией, то народное хозяйство выиграет от устойчивых денег не много больше того, что оно получило при падающей валюте. Отсюда видно, что денежная политика в новых условиях представляется в высшей степени сложным делом.

В настоящее время много и упорно говорят об инфляции, как о факте. Другие говорят более осторожно об опасности инфляции. Эти разговоры, основанные на наблюдениях, вызвали уже соответствующие меры предосторожности, и в данный момент общая масса денежного обращения сжимается. Напр., за последнюю декаду января денежная масса вновь сократилась на 12 млн. р., а всего за январь месяц сокращение объема денежного обращения составило крупную цифру—28 млн. руб. Естественно, что этот дефляционный прием денежной политики вызывает болезненные ощущения в промышленности и торговле.

Необходимость дефляционного приема была обусловлена тем, что народное хозяйство не могло быстро рассосать осенние выпуски свежих денег, сделанные для финансирования хлебных, сырьевых заготовок, а также для развертывания большой промышленной программы. В августе прошлого года было выпущено в обращение свежих денег на 100 млн., и общая масса денег в обращении перевалила к 1 сентября за миллиард. В сентябре последовал новый выпуск в 127 млн. руб. и в октябре—104 млн. руб. На 1 декабря прошлого года общая масса денег в обращении достигла наиболее высокого уровня—1.286 млн. р.

331 млн. руб. свежих денег на пространстве трех месяцев оказались преувеличенной порцией при современном состоянии народного хозяйства и вызвали своего рода завалы в каналах денежного обращения, главным образом, в деревне и в особенности в тех областях, где орудует частный капитал. Эти завалы симптоматически можно счесть за признаки инфляции, что требует более осторожной денежной политики, более сдержанного кредитования и даже в некоторой дозе дефляции. Но мы считаем, что по всей совокупности обстановки данного момента говорить об инфляции, как о наличном факте, довольно трудно. И если, допустим, об этом говорить можно, то все же остается открытым вопрос о причинах образования инфляционной опасности. Была ли совершена осенью прошлого года ошибка просчета, и свежих денег было выброшено больше, чем следует, или, как это склонны думать мы, у нас есть порок другого, организационного порядка?

Регулированное денежное обращение—самая трудная система денежного обращения. Она нуждается в сильных регуляторах, в таких рычагах, при помощи которых денежная политика, действительно, могла бы управлять денежным обращением. Регуляторами денежного обращения являются банки краткосрочного кредита. Поэтому системе регулируемого денежного обращения следует противопоставить систему банкового кредита, охватывающую по возможности все народное хозяйство. Нашим успехам в области денежного обращения не противостоит такой же успех в области кредитного оборота. Отсюда и вытекают невыгодные для народного хозяйства последствия. Наши банки охватили пока что государственный оборот и отчасти кооперативный. Вся же стихия крестьянских хозяйств и весь участок частного капитала оказался вне сферы воздействия кредитной системы.

Мы живем в условиях невыгодного и нежелательного дуализма денежного рынка. Заторы денег образуются на том денежном рынке, который до сих пор остается вне воздействия со стороны регулятора—банка. И за эти заторы на одном рынке вынуждены расплачиваться те области народного хозяйства, которые уже органически и очень тесно связаны с кредитным оборотом. Дефляционная политика всей своей тяжестью упадет на этот именно рынок. Но ее выгодами воспользуется больше всего другой рынок.

Первой и самой большой задачей в области денежного обращения поэтому должно явиться всяческое развитие кредитной системы, вовлечение в кредитный оборот тех слоев, которые сейчас по тем или иным причинам стоят далеко от нее. Когда быстрому вращению совзнака потребовалась помощь кредитных учреждений, то население пошло в эти учреждения густым валом. Стоит вспомнить хвосты и толпы около сберегательных касс. Нынешние деньги, для которых по существу нужно регулирующее обращение, в еще большей мере нуждаются в развитии кредитной системы и кредитной сети. Если не удастся наладить систему регуляторов, то мы всегда рискуем натыкаться на заторы, на инфляционные пузыри, и поэтому всегда придется тормозить народно-хозяйственные процессы.

Если же наладить такую систему регуляторов окажется довольно трудно, и быть может, невозможно, то остается один выход: введение золотой валюты, т.-е. такой валюты, которая сама себя регулирует. С этой точки зрения денежная реформа 1924 г. будет только первым этапом к настоящим твердым деньгам, и тогда страна завершит полный круг: от совзнака к золотой единице.

Мысль о золотой единице—не есть юбилейное преувеличение, она является логическим выводом из цепи тех посылок, которые составляют содержание новой экономической политики. Новая экономическая политика должна создать совершенно здоровое народное хозяйство, а такому хозяйству нужны самые здоровые деньги, такие деньги, у которых с совзнаками уже не будет ничего общего, от него они будут отделены полосой твердых денег данного момента, уже включающих в себя идею золотого обращения. Немцы называют такую валюту „Goldkernwährung“.

■■■■■■■

НЭП—НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.

И. ЛЕЖНЕВ.

1. Об отце и сыне.

Военный коммунизм кончился, а Нэп начался снятием заградительных отрядов. А последняя крупная реформа истекшего пятилетия—это реформа Внешторга. Ее смысл—снятие заградиловок в нашей международной торговле. Весь пройденный за время нэпа путь заключен между двумя предельными точками: от упразднения внутренней заградиловки до ликвидации внешней.

Нэп в самой первоначальной стадии мыслился, как натуральный товарообмен между городом и деревней. На заводах тяжелой индустрии спали еще ледяным сном левиафаны-машины. Среди оцепенения холодных и высоких громад закипала суета лишь в маленьком отогретом углу. Там лихорадочно-спешно штамповались зажигалки. Зажигалка в обмен на картошку—такова начальная формула нэпа. Последняя ее формула, запечатленная в постановлении пленума ЦК о внешней торговле, звучит так: „дифференцированная коммерческая система“.

Если путь прогресса в животном мире есть путь от односложной амебы до высоко дифференцированного человеческого интеллекта, то в применении к нашему хозяйству это—путь от натурального товарообмена до разветвленной и дифференцированной банковской системы.

Мы имели единую продразверстку и единый народный банк, а каждый из нас... ни единого фунта хлеба. Сейчас мы имеем многообразную систему банков, акционерных смешанных обществ, паевых товариществ, кооперативных объединений, кустарных артелей и, благодарение нэпу, сыты.

Какие только ни придумывались способы борьбы с разрухой—ударные и героические—вплоть до субботников и трудармий,—ничто не помогало. Помог хозрасчет.

Это напоминает анекдот о человеке с заскорузло-грязными руками и ногами, который жаловался своему другу:

— Грязь так въелась в тело, что ее не домоешь. Тёр уже песком, скоблил стеклом, сдирал кожу напильником—никак грязи не выведешь.

— А мылом не пробовал?

— Нет.

— Так попробуй: сильно помогает.

И верно! Сильно помог хозрасчет...

Мыло от грязи—не новое средство. Путь от натурального товарообмена до дифференцированной системы банков—не новый путь, да и червонцами была набита казна еще у царя Гороха. Путь от амебы до человека исторически пройден давно, еще задолго до нашей революции, но каждый в отдельности взятый человек, в своей личной истории, эмбрионально повторяет этот путь в утробе матери—от зародыша до человека.

Последние пять лет русской истории были таким кратким, утробно-повторительным курсом, который не пройти мы не могли.

Родившийся—или только рождающийся?—новый *ребенок имеет много черт наследственных, — но* когдаж это бывает иначе! Он так же, как и деды, склонен к торговлишке, к купле-продаже, так же язычески чтит копейку, так же усерден насчет питей.

Много черт наследственных, но есть же и новизна! Иначе, без этого дополнительного коэффициента новизны и неожиданности, стоило ли бы рожать и рождаться, исторически повторять нудную канитель воспроизводства.

Александр Пушкин был, конечно, похож на Сергея Пушкина, но узнали ли бы мы с вами о Сергее без Александра, и—обратно—случился ли бы в нашей истории такой счастливый выигрыш, как Александр, если б не было посредственного Сергея?

Уловить разницу между нынешним экономическим строем и старым, между сыном и отцом, при всей наследственной общности черт, уловить новое, значит определить нэп, как своеобразную хозяйственную категорию, подвести итог последнего пятилетия.

Вот простейший ответ:

— Раньше фабрики и заводы принадлежали капиталистам, теперь они принадлежат пролетарскому государству. Раньше в России была система растущего капитализма; сейчас—переходная форма к социализму.

Все это до последней степени ясно, отчетливо, понятно, многажды повторено и усвоено всеми на зубок. Но да позволено мне будет отдать дань интеллигентской привычке—ставить проблему именно там, где все слишком понятно. Боюсь излишне понятных вещей.

То, что фабрики и заводы национализованы—непреложный факт. Так оставляет ли факт место для проблемы?

Говорят: иллюзии проходят, факты остаются. Но разве заградительные отряды не были до зубов вооруженным фактом? Не будет ли по нашему времени вернее сказать: факты проходят, иллюзии остаются...

Фабрики и заводы были национализованы революционно-насильственным путем. Истекшие пять лет дали нам прекрасные образцы того, как полити*ческая воля воздействует (и небезуспешно) на* экономические отношения, но тот же пятилетний опыт учит, что это воздействие имеет свой строго-ограниченный предел, дальше которого безоружная экономика диктует свою волю вооруженнейшей политике. Разве не трусливая и слезливая баба-мешочница велела уйти саженному продотряду с кобурой? Экономическая необходимость проникает всюду, где ей надобно, без пропуска, без доклада, сквозь любые проволочные заграждения и железные засовы.

Поэтому тот факт, что наше советское государство в порядке революционного насилия завладело

основным капиталом страны, сам по себе еще не разрешает проблемы. Это факт в ряду фактов, он нуждается еще в экономической санкции. Это значит: требуется еще доказать, что такая система соответствует объективной необходимости, что она хозяйственно прогрессивна, что при наименьшей затрате сил и средств она дает наибольший возможный практический эффект.

В свете новых и величайших задач, поставленных государству конкретной русской революцией, в преддверии коренной смены всего основного капитала страны—дело отнюдь не решается фактом владения 8 лет тому назад национализованными старыми калошами индустрии.

Вопрос заключается в том, сумеет ли государство (и именно оно) создать новую промышленность, достаточно большую количественно, достаточно оборудованную качественно, достаточно экономную коммерчески, для народного хозяйства по-настоящему прогрессивную, дающую исход и наилучшее приложение производительным силам страны.

То, что социалистическое хозяйство по иерархии прогресса является высшей формой по сравнению с капиталистическим, бесспорно. Но это формальное суждение не должно затмевать реальных оценок. Ибо живая собака дороже мертвого льва. И собачий нэп в тысячу раз нужней, полезней, животворней мертворожденного военного коммунизма во всем его ореоле величия. Надо, стало быть, еще доказать, что система госпромышленности для нашего хозяйства действительно органична.

Нет сомнения, что плановое хозяйство выше, совершенней анархического. Но надо еще доказать, что длиннейшая череда плановых ошибок, просчетов, промахов, неувязок, диспропорций, всяческих проблем—валютной, топливной, транспортной,—будет действительно изжита и именно в плановом порядке.

О, это кремнистая стезя—наше планирование! Сколько здесь волчьих ям и провалов. И склонен человек осторожненько спросить:

— План? Но... приблизительно, конечно? Не во всем, конечно?

„В корне неправильно было бы полагать,—читаем мы в резолюции XIII партконференции,—что при преобладании мелкого крестьянского хозяйства, при возрастающем значении в нашем хозяйстве мирового рынка и его цен государственное плановое руководство могло бы исключить возможность кризисов в обстановке нэпа“.

Учет, как социализм—великое дело. Но всегда ли учет—социализм? И не стóит ли слишком много рублей слишком усердное планирование? В самом деле. Во что обходится параллельная бухгалтерия для надобностей учета? Сколько бланков, „форм“ и отчетов составляет каждое учреждение для надобностей органов учета?

Мне жаловались в учреждениях:

— Там, где для собственного дела нам достаточно пяти бухгалтеров, сидят еще 11 на параллельных ведомостях и рапортичках для регулирующих инстанций.

Типографские машины шлепают бланки, перья скрипят, одна и та же цифра повторяется в сотнях вариантов, контора пишет...

Очень хорошо, что капиталистов мы прогнали. Но это только пол-задачи. Вторая половина—и труднейшая!—заключается в том, чтобы прибавочная стоимость, которая жуирующим фабрикантом разбрасывалась на бриллианты, кокоток и болонок, шла бы теперь действительно на обогащение страны. Но для этого ведь надо еще освободиться от вздутых накладных расходов, от громоздких аппаратов, от бюрократических наростов, от неумелых торговцев (за пять лет пора бы научиться, а кто не научился—того и могила не исправит), от параллелизмов, учетного бедствия, от уродств приспособления под „госшапкой“, от растрат. Пока наша хозяйственная система не перестанет вырабатывать этот „побочный фабрикат“—благотворность освобождения от капиталиста еще не вполне реальна. До тех пор остается риск, что это—лишь замена одной большой дыры ситом из 50 мелких дырочек. Сквозь сито так же хорошо проливается драгоценнейшее добро, как оно выплескивалось в дыру. Не будем увлекаться формулой: „капиталист—тунеядец“; она имеет демагогический привкус. Не всегда ж он был только тунеядцем; часто бывал он организатором производства—и совсем недурным. Чтó проку в том, ежели одного тунеядца заменяют 50 бездельников, переливающих из пустого в порожнее; еще хуже, когда одного организатора заменяют 50 тунеядцев-растратчиков. Кто эти 50 человек? Собирательный капиталист, конечно. Каждый из них—разменная монета капитализма. От этой разменной монеты мы еще не освободились. Освобождение от нее—проблема, и не из легких.

А вот еще проблема.

Государству предстоит втянуть в социалистическое строительство деревенское собственническое население, т.-е. пять шестых всего людского состава страны. Сюда надо прибавить немалый процент собственнического населения городов. Дело идет о превращении страны, в своей подавляющей массе мелкобуржуазной, в социалистическую. Политическое руководство успешно осуществляется активным меньшинством. Несравненно сложнее хозяйственное руководство. Надо, чтоб меньшинство это было вооружено мощной техникой и очень солидными капиталами. У нас же, увы, нет ни того, ни другого. А ключ к тому и другому фатально упрятан в недрах все той же деревни: хлеб и экспорт.

Приводным ремнем, соединяющим мелкобуржуазную деревню с социалистическим государством, должна служить кооперация. Движущая пружина—зависимость кооперации от банка. Но как быть, когда деревенская кооперация растет черепашье-медленно, когда она еще и сейчас за тридевять земель отстает от довоенных норм, когда она растет еще неведомо куда, когда в банках денег мало и кредит кооперации и торговле по необходимости закрыт, когда мужик-кооператор не согласен платить банку за кредит иногда до 36% годового учету и на заседании заявляет:

— У Данилы дешевле.

А Данила—только-то и всего—местный кулак. Как быть с неистребимо собственническими тенденциями кооперации („наши паи, наш капитал—сами хозява“), как быть с беснованием растрат?

Вот у нас желание благое—куда лучше!—помочь бедняку. Но, хоть убей, из бюджета больше 10 миллионов выкроить невозможно. А если бедняком считать крестьянина, не пользующегося наемным трудом и безлошадного, то, при 40 миллионах беднящких едоков, на душу приходится все-таки не больше четвертака: даже на сороковку не хватит...

Мы говорим о коренной смене основного капитала, об индустриализации, но как быть с нею, когда капитальные затраты трестов взяты, по необходимости взяты, под жестокий контроль: денег нету...

Как быть с... Какой длинный синодик!

У еврейского юмористического писателя Шолом-Алейхема герой одного из рассказов, злосчастный и голодный учитель, в сумерки размечтался: что было бы, если бы он был Ротшильдом. Он начинает в своих проектах с малого: починил бы забор в местной синагоге, отремонтировал бы общественную баню, затем все более и более входит во вкус, распаляется в своих мечтах и достигает мировых масштабов. В самом деле, из-за чего происходят войны? Из-за материальных корыстей. Воюют Италия с Турцией. Я бы сказал Италии: „ná тебе миллион и Турции миллион—и пусть будет ша! Не надо войн, не надо кровопролитий. Когда бог вам поможет, вы мне отдадите!“. На самом патетическом месте мечтатель прерывает себя: „Так вы меня спросите, где я возьму столько денег, чтобы раздавать миллионы направо и налево? Так я вас спрошу: где мне взять трешну, чтобы дать моей Хайке сегодня на базар“?

Все мы, подобно шолом-алейхемовскому герою, после великих дерзаний и мечтаний, вновь и вновь возвращаемся к малым заботам, которые несет на горбу навстречу сегодняшний день.

Мы вспоминаем: основной капитал доработан, железный конь загнан, оборотного капитала мало, цены лезут в гору—и городские и сельские; индексы—и оптовый и розничный—зашагали по лесенке вверх, оставив червонец сиротливо позади; проблем всяческих много, а топлива мало: мало сырья, товаров и денег; транспорт притомился...

Так озаряющие небо световые транспоранты революции о низложении капитализма, о социалистическом планировании, о поголовном кооперировании, из величественных фактов становятся будничными проблемами. Проблемы требуют практического разрешения и теоретических доказательств. Надо еще доказать, что сын, наследственно похожий на отца, уже иной,—раскрыть, в чем он иной.

2. Хозоборона.

Еслиб я не был интеллигентом! Если бы прямые восклицания фактов не оборачивались для меня вопросительной кривизною проблем! Еслиб я мог, не мудрствуя лукаво, до конца поверить, что по световому транспоранту на небе заполнятся жизненные письмена на земле. О, я не постыдился бы тошнотворной нуди покаяния; как блудный сын, вернулсяб в отчий дом и просил о приеме в партию.

Верую, верую, господи! Помоги моему неверию! Ведь я полон интеллигентских сомнений, колебаний, раздумий...

Но есть одно, в чем я тверд, что ясно мне до конца:

— К старому хозяйственному укладу у нас возврата нет.

Новый экономический строй еще окончательно не стабилизовался. После первых пяти лет нэпа пойдет дальнейшая череда годов. Многое еще передвинется, сместится; предстоят, быть может, еще глубокие изменения. Но и пять лет—долгий путь, жесткая историческая проверка. На-ряду с наследственными чертами прошлого уже отчетливо обозначились черты новизны и во многом упрочились.

В чем они? Мы видим: командные высоты хозяйства отошли к государству: монополия внешней торговли, национализация земли, система госпромышленности. Соответствует ли эта новизна нашему историческому пути и каковы условия ее экономической санкции?

На первый вопрос можно ответить категорическим—да.

В течение ближайших десятилетий, впредь до революционного передела мировой карты по законам экономической географии, главнейшие магистрали хозяйства из рук государства уйти не должны, как не должна отойти от государства армия, аппарат управления и денежная эмиссия.

Начнем с самого больного вопроса—с Внешторга. Когда его громоздкий бюрократический аппарат (до последней реформы), затратив драгоценнейшую валюту, импортировал разнокалиберные части машин, из которых действующую машину собрать нельзя, и они мертвым грузом лежат по кладовым, когда качество ввезенных хваленых заграничных товаров оказалось издевательски недоброкачественным, когда заказы делались без достаточного знания предмета и в пулеметно-спешном порядке, то это очень худо. Недаром же мы пришли к реформе, к дифференцированной коммерческой системе международной торговли. Реформа, надо надеяться, исправит постановку дела, улучшит работу. Но можем ли мы в реформаторском радикализме совсем отказаться от монополии внешней торговли, хотя прежняя работа приводила и к ошибкам, и к потерям? Нет, конечно.

Монополия внешней торговли — это **система нашей экономической обороны на мировом рынке**. В международно-хозяйственном отношении она играет для нас ту же роль, что в международно-политическом—Красная армия.

У Ленина читаем следующие строки, проникнутые истинным партиотизмом и государственной мудростью:

„Никакая таможенная политика не может быть действительной в эпоху империализма и чудовищной разницы между странами нищими и странами невероятно богатыми. В указанных условиях полностью сломить эту (таможенную) охрану может любая из богатых промышленных стран. Для этого ей достаточно ввести вывозную премию за ввоз в Россию тех товаров, которые обложены у нас таможенной премией. Денег для этого у любой промышленной страны более, чем достаточно, а в результате такой меры любая промышленная страна сломит нашу туземную промышленность наверняка... Ни о какой серьезной таможенной политике сейчас,

в эпоху империализма, не может быть и речи, кроме системы монополии внешней торговли".

Поясним это примером. Во время прошлогоднего конфликта в английской угольной промышленности правительство взялось субсидировать шахтовладельцев в таком размере, чтобы они, не снижая зарплаты, имели, в обстановке кризиса, те же прибыли, что и в нормальное время. Эта субсидия непосредственно имела в виду как будто зарплату, но по существу была рассчитана на поддержание конкурентоспособности английского угля на мировом рынке.

Где же гарантия, что то или иное правительство не начнет выдавать своей промышленности субсидию, равную нашему таможенному тарифу, с целью сорвать наш заслон? Некоторое время наши конкуренты терпели бы известный ущерб, но потом, когда мы сорвались бы в этом неравном состязании, они нас взяли бы буквально голыми руками и диктовали уж свои условия, т.-е. превратили бы нас в колониальную или полуколониальную страну.

Какой же в этих условиях у нас, да и у любой слабой или отсталой страны, может быть иной способ экономической самообороны, кроме монополии внешней торговли?

При нынешних соотношениях мировых и внутренних цен, при современном качестве нашего хлебофуража, пока вывоз не стал кровным делом нашей кооперативной крестьянской общественности, экспорт еще убыточен. Но огромные возможности экспорта бесспорны. И так же бесспорно, что только монопольная система введет экспортные прибытки в резервуары национального дохода. Опыт довоенного времени достаточно красноречиво показал, что при нашей финансовой слабости львиная доля экспорта попадает в руки иностранного капитала, обогащая его за счет обнищалого крестьянства, живущего в условиях звериной первобытности. Чтоб прибытки экспорта оставались внутри страны, чтоб они повышали наш жизненный уровень, чтобы создавались предпосылки для индустриализации нашего народного хозяйства, необходимо сохранение монополии.

В пределах монопольной системы возможны и, вероятно, даже неизбежны еще многие изменения (на этот путь мы уже стали), но основной принцип не может и не должен быть нарушен.

Национализация земли. Крестьянин владеет своей землей на правах хозяина, строит дом, хуторское хозяйство, нисколько не опасаясь отчуждения усадьбы, пахоты, строений. Он может сдавать свою землю даже в аренду. Единственно, в чем ущерблены его собственнические права: он не имеет права продавать землю. Этим исключается спекуляция земельными угодиями, скупка земли крупным капиталом, преимущественно иностранным. Каков же объективный исторический смысл национализации? Она удерживает землю в национальном владении, страхует наше народное хозяйство от интервенции иностранного капитала—так же, как нас страхует от этой опасности монополия внешней торговли. Это — мера национальной охраны от экономической экспансии Запада. Не был ли бы отказ от нее равносилен отказу от Красной армии, сдерживающей военно-политическую экспансию того же Запада?

Либо сдача на милость мировых финансовых гегемонов, т.-е. приобщение СССР к плану Дауэса, либо хозяйственно-охранительная система национализации. Третьего не дано.

Но вот промышленность. Тяжелая индустрия в России зиждилась на трех китах: на иностранном капитале, на государственных военных заказах и субсидиях, на займах—внешних и внутренних. Иначе оно и не могло быть в отсталой стране, с запозданием приобщавшейся к европейской технике—под пушечными жерлами военной необходимости. Когда под Севастополем система николаевской солдатчины была разгромлена англо-французской военной техникой, государство оказалось вынужденным насаждать тяжелую индустрию, развивать жел.-дорожную сеть. Техника была призвана довооружить армию. Большие заводы явились на смену несуразно-большому — 25-летнему — сроку николаевской военной службы.

Тяжелая индустрия стала насаждаться в России сверху, как исторически-неизбежная военно-государственная дедукция, а не как растущая с низин хозяйства имманентная потребность. Но будучи включена в цепь народного хозяйства, крупная промышленность оказала мощное воздействие на смежные звенья, стала питать среднюю и легкую индустрию, подымать весь наш технический уровень на высшую ступень.

Поднять страну на высшую техническую ступень, насадить фабрики и заводы, оборониться от чужеземной товарной интервенции заслоном протекционизма—этот замысел вдохновлял всех крупнейших государственно-мыслящих людей России, начиная с Петра. Но кто мог его осуществить—разлагающийся монархический режим или спящая непробудным сном крестьянская Русь? За исторически неизбежное дело взялись капитал иностранный и отечественный, преимущественно из придворной камарильи. Эксплоатировались одновременно и государство, сдававшее подряды и заказы, и трудовое население, несшее непосильную обузу налогов и займов. Так был искажен путь нашего развития.

Революция национализовала промышленность, т.-е. вернула ее к естественно-историческому истоку: поставила на службу государству, его военным нуждам, его индустриализующей страну воле.

Функция культурного ускорения, которую я в другом месте [1]) назвал „интеллигенцией",—эта функция отошла нашей новой государственности, переплетенной и слитой с нашей передовой общественностью. Их совместными усилиями строится и будет строиться на городских верхах индустриальный конь новой России, призванный заменить захудалую деревенскую лошаденку. Тем временем с культурных низин подымается раскрепощенное революцией крестьянство. Оно строит свою кооперативную общественность, тянется навстречу индустриализующей воле.

Два огненных конуса—один, опрокинутый острием

1) См. „Россия" № 4, ст. „На стыдную тему".

вниз, другой, обращенный острием вверх, тянутся навстречу друг другу, и взаимным притяжением образуют пламенный столб национального творчества, национальной экономической политики.

Из двух расплавленных конусов слагается нэп— из индустриализующей воли государства, из развязанных производительных сил страны. В этом— своеобразие роста новой России,—страны отсталой, с запозданием приобщающейся к цивилизации и одновременно обороняющейся от дауэсизирующего мир засилья англо-американского капитала.

Сочетание частно-капиталистических отношений с госпромышленностью, которое являет нэп, есть система хозобороны. Эту новизну экономического строя мы видим; ей, стало быть, и верим.

Еслиб мы были коммунистами, мы виделиб и верили в бо́льшее:

— Нэп—переходная форма к социализму.

Но прямота фактов фатально оборачивается к нам кривизной проблем. Ведь мы—только беспартийные интеллигенты.

Для нас трехбуквие нэп расшифровывается: национальная экономическая политика.

Разница оценок не мешает общности работы. Мы гребем в одну сторону, а куда приплывем—это уж будет там видно.

Волнует другое, более близко лежащее: имеет ли наша общая работа экономическую санкцию и как быть, все-таки, с шолом-алейхемовской трешной?

Все дело в конусах, в их действительном тяготении друг другу навстречу, в их действительном слиянии. Индустриализующая воля государства должна быть по-настоящему оплодотворена производительными силами страны. В этом, и только в этом, весь вопрос.

Вопрос в том, будет ли деревня, опасаясь зачисления в кулаки, припрятывать кубышки поглубже, утаивать добро, прибедняться, или она вольет свою хозяйственную энергию, инициативу, капиталы, в обще-национальный резервуар, безбоязненно понесет свои сбережения в банк, паи—в кооперацию, обзаведется скотом, молотилкой, трактором.

Сейчас экстренными мерами удалось извлечь из деревни 50 миллионов руб., но там по кубышкам застряло еще свыше 300 миллионов, не считая хлеба, льна, сырья. Городской частный капитал исчислялся еще полгода тому назад в 200 милл. руб. Сейчас он вновь во все тяжкие пустился в валютную спекуляцию. Полмиллиарда частных денег в городе и деревне, миллиарды пудов урожая, застрявшие в деревне—ведь это солиднейшая часть годового национального дохода.

Мобилизация кубышек, подспудных капиталов и подспудной энергии—вот задача времени. Хотим ли мы ее осуществить? Еще бы! Но наши усилия разбиваются о порок двойственности. Город ставит сразу и на Антона и на Онуфрия. Город повернулся лицом к деревне, начал развязывать ее производительные силы, но развязывающие руки трясет лихорадка кулакомании. Город хочет развязать середняка и связать кулака сразу. А граница между середняком и кулаком смутна, расплывчата. Какой межевой инженер установит ее?! В самом деле—с какого волоса начинается лысина?

На-ряду с взаимным притяжением двух конусов идет их отталкивание. Город обороняется от деревенского кулака. Растерявшийся в уловлении границ между кулаком и не-кулаком, между дозволенным и недозволенным, крестьянин обороняется от города. Как? Утайкой, кубышкой, припрятанным добром, придерживаемым хлебом.

Так создается еще одна хозоборона—внутренняя.

А нам нужно кооперирование сил внутри и хозоборона во вне. Нужно, чтобы вся наличная в стране сумма средств и сил влилась в единый резервуар национального дохода,—в этом экономическая санкция нового хозяйственного уклада, в этом—залог успеха нэпа—национальной экономической политики.

■■■■■■■

ДИСКУССИЯ О БРАКЕ.

П. И. ЛЮБЛИНСКИЙ.

Центральным пунктом спора является вопрос об обязательности регистрации брака. Действующее право стоит на той точке зрения, что только зарегистрированный брак порождает для супругов взаимные права и обязанности.

В противовес действующему праву, проект кодекса законов о браке, семье и опеке Наркомюста выдвинул понятие „фактического брака“, как отношения, порождающего те же последствия, что и брак зарегистрированный.

В защиту *этого предложения объяснительная* записка указывает, что обязательность регистрации брака была целесообразна в 1918 г., когда государству приходилось бороться с церковной формой брака и в замену ее нужно было выставить для населения какую-либо иную; ныне же этот мотив потерял свое прежнее значение, и следует в основу брачного права положить фактические брачные отношения, сохранив за регистрацией лишь техническое значение средства удостоверения определенного факта, чтобы облегчить возможность его доказательства в случаях, когда одному из супругов придется защищать свои права. Лица, состоящие в фактическом браке, имеют те же материальные права и обязанности, но им придется лишь, при отсутствии регистрации, доказывать свои брачные отношения в судебном порядке.

Наркомвнудел, в ведении которого находится регистрация актов гражданского состояния, выдвинул контр-проект, защищавшийся в печати и на собраниях тт. Белобородовым, Сольцем, Красиковым и др. НКВД считал необходимым признавать юридические последствия лишь за регистрированным браком, предоставляя лицам, состоящим в фактическом брачном

сожительстве, в любой момент оформить свои отношения регистрацией брака.

В споре этом обеими сторонами приведен был ряд аргументов за и против, но все же достаточная ясность вопроса не достигнута. Вопрос этот глубоко врезывается в жизненные отношения и потому заслуживает внимательной оценки.

В массах крестьянского населения мы встречаем почти единодушное признание юридического значения лишь за регистрированным браком. Причины этого ясны. Жена-крестьянка является трудовой силой крестьянского двора; она вступает в качестве сочлена в общее владение двором. Неоформленная брачная связь, в которую вступит тот или иной из участников двора на стороне, не давая трудовых выгод крестьянскому двору, может, однако, наложить на него значительные имущественные обязанности, так как алименты выплачиваются из общего имущества двора. При наследовании женщина может получить долю умершего сожителя, которая иначе осталась бы в имуществе двора. Крестьянская молодежь, уезжающая на заработки в город и заводящая здесь случайные связи, могла бы обременить крестьянский двор целым рядом обязательств, подрывающих крестьянское хозяйство. С другой стороны, в крестьянстве еще очень сильно вековое воззрение на брак, как на связь, утверждаемую церковью или обществом, и отказ от обязательности гражданской регистрации неизбежно воскресил бы сознание того, что лишь церковный брак является „браком по настоящему“.

Сторонники признания юридического значения за фактическим браком указывают, что в ряде случаев „фактический“ супруг ничем не отличается от „зарегистрированного“, и нет основания лишать его прав на материальную поддержку и наследование. Для ясности отметим, что вопрос о содержании детей, прижитых в фактическом браке, при этом вовсе не возбуждается, так как права их на алименты и наследование независимо от того или иного решения строго обеспечиваются нормами семейного и гражданского права. Нельзя оспаривать того, что в отдельных случаях справедливость может требовать приравнения фактического супруга к зарегистрированному, однако, возвести признание таких обязанностей в общее правило закона нельзя без риска весьма опасных последствий.

Что такое „фактический брак“? Составители проекта и отдельные юристы потратили немало усилий для того, чтобы определить понятие брака вообще, и под конец должны были совершенно отказаться от дачи такого определения. Между тем суду в десятках тысяч процессов придется разбираться в характере отношений между мужчиной и женщиной для выяснения того, насколько эти отношения можно назвать „фактическим браком“.

Если в делах об отцовстве приходится с большим трудом для суда и с тягостью для сторон устанавливать наличность однократного полового акта в определенный период, то в каком положении очутится суд, если на его задачу выпадет установление этого на протяжении нескольких месяцев или лет. Какой срок полового сожительства создает „фактический брак“? Зарегистрированный брак не ограничен сроком: он может длиться несколько часов или дней, после чего супруги могут развестись. Можно ли указать какие-либо определенные сроки для брака „фактического“, или даже мимолетную половую связь мы должны будем признать таким браком.

В украинском новом кодексе права и обязанности лиц, состоящих в фактическом сожительстве, возникают только тогда, если сожительство продолжалось не менее двух лет или сопровождалось беременностью женщины или рождением ею ребенка. Здесь мы отчасти наблюдаем ту форму брака, которая в римском праве называлась браком по давности (matrimonium per usum). Но если сделать из этого соответствующие выводы, то мы последовательно должны притти к многоженству. Гражданин А., состоя в зарегистрированном браке с гражданкой Б., вступает в связь с гражданками В, Г, Д и т. д., от которых у него рождаются дети или которые длятся более двух лет. По иску В, Г, Д и пр. суд должен будет признать его фактическим мужем нескольких жен, на-ряду с зарегистрированной его женой, с возложением на него обязательства содержать всех их.

Правда, и ныне состояние в браке не налагает на супругов обязанности соблюдения верности и чистоты брака, но государство не санкционирует внебрачных половых отношений присвоением им каких-либо юридических последствий. Не требуется и разрыва прежних фактических брачных отношений при вступлении в новый брак, но для этого необходим все же формальный акт развода.

В ленинградской практике пришлось встретиться со следующим случаем. Гражданин Т., служащий счетоводом на одной из фабрик, проживает вместе с тремя своими женами. Первая жена, от которой он имел двоих детей, формально значится разведенной. Т. зарегистрировался со своей бывшей прислугой, от которой у него родилось еще двое детей. Затем он принял к себе в дом новую прислугу, с которой он вступил в связь и которая ныне находится в последних месяцах беременности. Т. фактически продолжает сожительство со всеми тремя, при чем каждую из них он уверяет, что оставит ее в качестве „зарегистрированной“, вследствие чего все три женщины стремятся друг друга „выжить“, устраивая друг другу сцены ревности, потасовки и пр. Картина не была бы очень трагичной, если бы постоянными свидетелями этих сцен не являлись четверо детей гражданина Т. (14, 7, 5 и 2 лет), живущие с ним и тремя его женами в одной комнате и существующие все вместе на жалование гражданина Т., выражающееся в пятидесяти рублях в месяц. В довершение всего, кроме трех жен, гр. Т. приводит в свой дом и случайных гастролерш с улицы, которые остаются участницами его гарема по нескольку дней.

Нельзя рассматривать брак только с точки зрения удовлетворения полового инстинкта. Брак является социально-биологической формой жизни, которая должна быть построена в соответствии с общественно-экономическим укладом людских отношений

и интересами наилучшего воспитания и охраны детства. Поэтому и государство не может слепо следовать за изменчивыми прихотями полового инстинкта, признавая за ними такое же значение, что и за браком, как социальным институтом. Это положение можно развить подробнее.

Как действующее законодательство, так и проект, устанавливает для вступления в брак ряд условий: достижение определенного возраста, отсутствие близкого родства, отсутствие состояния в зарегистрированном браке, отсутствие душевной болезни и слабоумия. Для создания „фактического брака" эти ограничения не имеют значения. Четырнадцатилетняя девочка-подросток может состоять в „фактическом браке" с мальчиком того же возраста, отец может длительно сожительствовать с дочерью, душевно-больная — с лицом, не брезгающим ее болезнью, и т. д. Должно ли государство, вместо принятия решительных мер к прекращению такого сожительства, присваивать ему значение фактического брака, порождающего юридические последствия. Думается, что нормы, установленные в интересах охраны здоровых форм брака, потеряли бы все свое значение, если бы закон стал на этот путь. Насильственные, противоестественные, обманные формы сожительства, получив судебное признание в качестве „фактического брака", смогли бы окончательно дискредитировать самую идею гражданского брака, охраняемого государством.

Далее. Юридическое значение брака не исчерпывается только теми правами и обязанностями, которые возникают между супругами. В ряде случаев пред лицом государства семья выступает как цельная единица. В области социального страхования, в налоговом, жилищном праве, при установлении пенсий, при судебном представительстве, члены семьи пользуются особыми правами, и государство принимает на себя в отношении этих членов определенные обязанности или обеспечивает им различные льготы. Мыслимо ли было бы учесть все эти обязанности и льготы, если бы само понятие „жены" или „мужа" утратило свою гражданскую определенность? После смерти служащего за пенсией потянулось бы несколько его жен, страховые кассы выплачивали бы пособия в случае временной утраты трудоспособности не одной семье, а нескольким, ряд женщин мог бы воспользоваться удобной для них „социальной категорностью" лица для удешевленной оплаты жилища, коммунальных услуг и пр. Словом, та часть социального законодательства, которая имеет своим объектом семью, неизбежно должна была бы отмереть, как лишившаяся формальной базы. Быть может, это и не произошло бы в массовом масштабе, но какое громадное число судебных процессов, фиктивных признаний и *обходов закона* явилось бы следствием такой меры.

Санкция брака, производящаяся в форме его регистрации органами государства, не является одной только формальностью, выполняемой в удобствах доказывания, но служит определенной формой признания со стороны государства и общества правовой и социальной значимости союза между мужчиной и женщиной.

Из области семейного права больным местом явился вопрос об **алиментах**. В последние годы в связи с распадом и перестройкой брачных отношений наблюдается колоссальный рост судебных дел об алиментах. По данным А. Сольца, в Московской г. алиментные дела составляют свыше 30% всех гражданских дел, рассматриваемых народными судами. В практике детских юридических консультаций алиментные дела составляют от 40 до 60% всех обращений. Алиментная проблема приобрела у нас крупное общественное значение в связи с ростом детской беспризорности и сокращением сети социального воспитания, куда раньше массами помещались дети.

Особенно трудным оказался вопрос об установлении обязанности алиментов при возможности отцовства нескольких лиц (если в период предполагаемого зачатия женщина сожительствовала с несколькими). Действующее право разрешало вопрос установлением солидарной (общей) ответственности всех мужчин, имевших сожительство с матерью, одаряя таким образом ребенка сразу несколькими отцами. Ненормальность такого порядка чувствовалась уже давно и, напр., Украина, восприняв в своей практике почти все постановления брачно-семейного кодекса РСФСР, не ввела этого правила у себя.

Проект в редакции комиссии СНК склонился к другому решению. Он предоставляет суду избрать по своему усмотрению из числа нескольких соответчиков одно лицо, на которое и возлагаются обязанности доставления алиментов, с признанием такого лица отцом ребенка. Но едва ли и такое решение можно признать удовлетворительным. В основе семейных прав и обязанностей по кодексу лежит действительное происхождение ребенка, в данном же случае суд будет действовать чисто гадательным образом. Выбор суда может пасть на то или иное лицо по чисто случайным соображениям (большей состоятельности этого лица, его семейного положения и проч.), при чем этим, несомненно, будет подрываться авторитетность решений суда.

Более правильным нам рисуется другой путь, принятый отдельными законодательствами Швейцарии. Женщина в праве предъявить иск об алиментах всегда только к одному лицу. Если ею будут представлены доказательства интимной близости с этим лицом в период вероятного зачатия, то суд и присуждает с него алименты, не допуская с его стороны отвода ссылкой на сожительство истицы с несколькими. В отличие от проектируемого комиссией СНК порядка, здесь выбор между несколькими возможными ответчиками принадлежит не суду, а самой женщине, которая в этом отношении является более осведомленной и которая несет ответственность за неправильность своих заявлений. С другой стороны, *при этом порядке и репутация женщины*, ищущей алиментов для своего ребенка, не подвергается тяжелому испытанию, когда суд должен войти в обсуждение всех деталей ее сожительства с несколькими, чтобы выяснить бо́льшую или меньшую причастность каждого. Из рук же ответчика выбивается то оружие, которое часто с большой недобросовестностью пускается в ход в целях дискредитирования истицы.

Из всего содержания проекта один вопрос встретил единогласное признание. Это вопрос о восстановлении в нашем праве усыновления, которое вместе с узаконением было отменено кодексом 1918 г. из опасения замаскированной эксплоатации детей, особенно в отношениях крестьянского хозяйства. С того времени Земельный Кодекс допустил в крестьянском быту приймачество, равносильное по своему значению усыновлению, в условиях же городского быта на почве довольно частых случаев длительного принятия детей на воспитание в частные семьи создались такие фактические отношения между приемной семьей и ребенком, которые было желательно оформить в постоянную семейную связь при помощи усыновления. Экономические и другие опасения, выдвигавшиеся против этого института, ныне отпали, и дальнейшая отсрочка этой меры, весьма полезной и в качестве одного из средств борьбы с детской беспризорностью, является нежелательной.

В связи с этим в настоящее время в правительственных кругах возникло предположение издать статьи проекта, определяющие порядок усыновления, в качестве особого декрета, не ожидая принятия проекта в целом. По проекту усыновление, допускаемое исключительно в интересах детей, может производиться всяким лицом, имеющим право быть опекуном, с разрешения опекунского учреждения. Усыновлению подлежат исключительно несовершеннолетние, при чем, если усыновляемый достиг 10 лет, то для этого требуется и его согласие. Согласие родителей усыновляемого не является безусловно необходимым, но если усыновление последовало без такого согласия, то отдел опеки, по ходатайству родителей, может это усыновление отменить, руководствуясь интересами ребенка. Вопрос об отмене усыновления может быть возбуждаем и каждым лицом или учреждением, если этого будут требовать интересы ребенка. Между усыновленным и усыновителями возникают права и обязанности, вполне аналогичные правам и обязанностям между родителями и детьми (обязанности по воспитанию и содержанию, наследственные права и проч.).

При дискуссии по поводу кодекса законов о браке, семье и опеке зачастую к законодательству предъявляются слишком большие требования,—требования о том, чтобы оно предусмотрело и безболезненно разрешило многие семейные конфликты, возникающие в жизни, чтобы оно внесло устойчивость в брачные отношения, обеспечило детей, пострадавших от распада семьи, наложило сдержку на половую распущенность и многое другое. При этом забывают, что большинство бытовых сторон жизни слагается и зависит не от тех или иных законодательных норм, а от нравов, культурного уровня, социально-этических воззрений, воспитания населения, т.-е. от факторов, определяющих культурный прогресс общества.

Законодательство может изменить их действие лишь в сравнительно слабой мере, его задача лишь наметить те формы, которые пользуются поддержкой государства и его охраной. Борьба же с уродливыми формами быта есть дело просвещения и культурной работы среди масс населения. Здесь, впрочем, в распоряжении государства имеется еще одно средство, которое у нас применено в ряде автономных республик в целях искоренения обычаев, закрепляющих бесправие замужней женщины, это средство—уголовный кодекс.

Необходимо поэтому в связи с пересмотром нашего брачного и семейного права пересмотреть и некоторые постановления уголовного законодательства, призванные к охране семьи и детей. Свобода брачных и семейных отношений не должна переходить в злоупотребление ею, и в этом отношении соответствующее уголовное законодательство может достичь большего, нежели редакция тех или иных статей брачно-семейного кодекса.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

У ОКНА ВАГОНА.

(МОСКВА—ХАРБИН).

Н. УСТРЯЛОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Имя проф. Н. В. Устрялова привлекло живой и заслуженный интерес разных кругов общества. Интересен и новый очерк Устрялова „У окна вагона“,—этот своеобразный дневник впечатлений и дум о родине после свидания с нею. Нужно ли спорить с Устряловым? Споров было, пожалуй, уж достаточно. Первым спорил в московской печати И. Лежнев (см. „Россия“, № 9 за 1923 г.—„Открытое письмо проф. Н. В. Устрялову“). Последним спорит... сам Устрялов. „Поменьше выводов,—читаем мы в его послеобеденной записи от 5 августа,—не они ли нас уже „вывели“ раз на край света, завели в тупики изгнанничества, безысходности, паралича?..“ И дальше: „Новые времена—новые песни. Не скрою, в этой новой атмосфере и сам я подчас начинал себя чувствовать словно чуждым, далеким, слишком старомодным человеком. Тоже „человеком заката“. Словно за бортом жизни, за бортом истории“. Так, за бортом жизни, однако же в комфортабельном международном вагоне и—точнее—у окна этого вагона делает свои импрессионистские записи Н. В. Устрялов. Но именно старомодность, мягкость патриотического лиризма, приметливость стороннего наблюдателя создают своеобразный интерес этой вещи. Проходит перед глазами наш быт,—смотришь: и он и не он. Будто глядишь сквозь экзотическую призму и—воображаешь. Устрялов освежает впечатления, помогает воображению.

Окончание дневника будет напечатано в следующем номере.

Предисловие.

Этим летом я прожил полтора месяца в России, главным образом, в Москве. По возвращении в Харбин, мне хотелось привести в порядок впечатления, изложить их в более или менее обстоятельном очерке. Отсутствие времени не позволило осуществить это намерение. Но на обратном восьмидневном пути, сидя у окна вагона, я все же успел в беглой, полудневниковой форме зафиксировать коечто из наблюдений, настроений и мыслей, вызванных прикосновением к России. Прекрасно сознавая всю отрывочность, эпизодичность, недостаточность этих записей, я согласился их опубликовать в ответ на просьбу друзей „поделиться московскими впечатлениями“.

Читатель имеет дело именно с „впечатлениями“, импрессионистскими набросками, „сырым материалом“, успевшим подвергнуться лишь легкой стилистической обработке, да и то не везде.

Запись велась по дням, и я не вижу надобности изменять расположение материала при ее опубликовании.

2 августа 1925 года.

Участок Вятка—Пермь. Удобно ехать, мягко, мало трясет, даже писать можно без усилий: международный вагон. Вполне чисто, даже комфортабельно. „Довоенная норма“ в этой области, кажется, налицо.

Хорошо ехать, ехать... Теплый вечер, окно открыто, льется воздух русских полей, мелькают снопы сжатой ржи—батюшка Урожай!—елки, церковки, избы, речки. После Манчжурии особенно отраден вид сельских церковок, полевых монастырей—русский, тютчевский пейзаж... Ехал бы, кажется, так всегда, всю жизнь: мы — странники на земле. Вот бы научиться этому мудрому бесстрастию странника; впрочем, разве и впрямь не учит ему нынешняя наша жизнь?..

В этом же вагоне—наркомздрав Семашко: до какого-то из сибирских курортов. Типичный интеллигент, с холодными голубыми глазами, с обликом разумным и степенным: странно, что он был в 1917 г. пресловутым „прапорщиком Семашко“! Tout passe, tout change...

В купэ со мною—доктор-француз: в Читу—исследовать в Забайкалье и в Монголии бубонную чуму и еще какую-то болезнь. Беседую с ним на разные темы. Симпатичный по-своему, корректный, культурный человек. Европеец. Уполномоченный от Лиги Наций. Парижанин с соответствующей психологией.

...Однако надо бы прибрать к рукам взлохмаченные впечатления, довести до разума все, „что глаза мои видели“.

Многого не посмотрел в Москве, что мог бы и должен был бы посмотреть. Но труднее всего было усвоить суетливую психологию туриста, провинциала, спешащего видеть, торопящегося набрать побольше внешних впечатлений. Сразу Москва ощутилась, как нечто настолько родное, настолько с в о е, что туристский темп жизни неизбежно воспринялся бы, как что-то оскорбительное, нелепое, искусственное. Жил, как жилось, не приневоливая себя, но в то же время жадно вдыхая каждый атом московского воздуха, вживаясь в каждый элемент московского быта. Прекрасна попрежнему Москва и гораздо больше прежнего интересна. Последнее особенно чувствуется на расстоянии, когда осмысливаешь непосредственные впечатления. Ключом бьет интенсивная, бурная жизнь, широк и своеобразен ее размах, вся она насыщена соками большой истории. Нужно только ощутить перспективу и, не игнорируя частностей, помнить о великом целом. И радость, и гордость берет тогда за Россию. Это—главное.

Труднее разобраться в обстановке конкретно. Основное впечатление современной русской действительности—впечатление ее исключительной с л о ж н о с т и. Всякое категорическое определение ее по существу имеет все шансы оказаться односторонним и, следовательно, неверным, ложным. Тем самым приходится признать чрезвычайно шаткими и все „прогнозы“, с нею связанные. Определение всегда

есть ограничение, а Россия попрежнему предстоит сознанию „страною неограниченных возможностей“.

Свершаются очень большие события, слагается своеобразная, реально новая жизнь. Но, конечно, нередко и в этой новизне старина слышится. Иногда кажется, что создается действительно нечто неслыханное, небывалое,—„новый мир“: это чувство особенно обостряется после беседы с кем-либо из „новых людей“, главным образом с хозяйственниками из партийных. Но присмотришься кругом,—и вдруг начинает мерещиться, что этот новый мир—целиком из старого материала, что plus ça change—plus ça reste la même chose... Но и это, конечно, неверно: истина где-то посредине, в синтезе, и там, и здесь.

Исторический смерч органически возник в атмосфере старой России, но он же и убил эту атмосферу, заменив ее новой. Если так, то он в известной мере неизбежно двулик. Революции—всегда продукт истории; но вместе с тем о них справедливо утверждают, что они творят историю.

Во всяком случае, в Москве очень свежа интуиция значительности совершающегося процесса. Что-то коренное, огромное происходит, по заданиям дерзновенным и самонадеянным, но вместе с тем таящим в себе какой-то глубокий смысл, какую-то своеобразную оправданность. Жизнь, традиция, инерция времени, быта, привычек врываются в эти задания, переплетаются с ними, уступают им, преображают их. Но все же нельзя без больших оговорок прилагать наши старые мерки и масштабы к нынешней русской жизни: быть может, тут мне следует внести кое-какие дополнения к моим привычным тезисам. Вернее, нужно будет усилить некоторые акценты, уловить и отразить в публицистике некоторые оттенки, мною доселе оставлявшиеся в тени. Перемена все-таки очень глубока—более глубока, чем это казалось сначала, чем это подчас кажется издали. Революция очень существенна, очень радикальна и по объему, и по содержанию. Сказать, что она по-своему воссоздает российскую державу,—не значит ли это сказать еще слишком мало? Что означает—по-своему? В этом теперь главный вопрос.

Все это очень трудно, все это очень сложно. Уравнение со многими еще неизвестными. И чем ближе всматриваешься, тем дальше ясные ответы. Побывав в России, кажется, меньше ее знаешь, чем созерцая ее со стороны.

„Очень сложно, очень сложно“—недаром так ответил мне с характерным жестом профессор на мой первый вопрос, к нему обращенный при свидании после семилетней разлуки. Умный, чуткий, глубокий человек.

С „канонами“, с „догматами“, с „точками зрения“ ничего не поймешь в нынешней России. Быть может, ими ею можно править, но познать ее ими—никогда...

Для постижения сложной, убегающей от плоскостного разума действительности нужны адэкватные орудия познания. Всякое утверждение нужно проверять критически, вернее, диалектически. Ибо современная Россия есть нечто от Гераклита Эфесского. Живой огонь и общее течение: „все течет“ в ней. Что было истиною вчера, сегодня ложь. Что было вчера полезно, сегодня вредно. Что было плохо вчера, хорошо сегодня.

— Как вы смотрите на сменовеховство?—спросил при мне мой приятель некоего коммуниста, одного из заметных партийных литераторов.

Тот нашел ответ мгновенно:

— На это надо смотреть диалектически. Сначала оно было хорошо, а теперь плохо!

Он по-своему, должно быть, прав, но тем характернее его ответ. „Все течет“...

Но и помимо эволюции во времени, диалектика применима ко всякому утверждению. Все медали имеют обратные стороны. О каждом процессе можно (и должно) высказать сразу несколько суждений. И раз так, то сколько же их следует высказать о таких предметах, как „большевизм“, „советская власть“ и т. п.!..

Вся жизнь в России теперь насквозь диалектична. Пошатнулись самые критерии, масштабы оценок. Сами они стали относительными. Абсолютное ушло куда-то вглубь. Мы узнали, что сплошь и рядом принимали условности за безусловное и случайности за субстанцию. Мы слишком часто „абсолютизировали относительное“, смешивали грани. В периоды долгой устойчивости костенеют способности суждения; детали, мелочи, орнаменты приобретают значение чуть ли не „вечных ценностей“. Теперь почва уплыла из-под ног, плывет стремительно, вот как сейчас бегут поля и леса мимо окна вагона... Нет привычных костылей, нет удобного карманного компаса, приходится ориентироваться „по звездам“. Комнатным людям с непривычки это трудно. Комнатные люди не отстают от своих маленьких компасиков, игнорируя бушующую „магнитную бурю“. И беспомощно блуждают—такие жалкие, жалкие...

Да, медаль о двух сторонах... Взять хоть самый тезис о гераклитовом огне. Но разве нельзя вместе с тем сказать о русской жизни, что есть в ней много от болота? В аспекте быта? Да и вообще...

Разные планы, разные плоскости. И нужно все их учитывать, иначе получится однобоко, неверно, неумно. Но... нельзя ведь объять необъятное...

...В голову, завершая раздумье, стучится четверостишие Вл. Соловьева из „Песни офитов“:

Пойте про ярые грозы—
В ярой грозе мы покой обретаем.
Белую лилию с розой,
С алою розою, мы сочетаем!..

Да, конечно:

— Сложно, очень сложно!

3 августа 1925 года.

Пермь—Свердловск. Красиво. Суровый хвойный пейзаж, особенно строгий на фоне серого, облачного дня. Едем быстро, летят мимо домики, станции...

Свердловск (1 ч. дня).

Тот же знакомый прекрасный вокзал, широкая лестница, просторная зала. Помню ее всю облепленную спящими чехами, нашими сибиряками: ехал в Омск из Перми, только что взятой пепеляевской армией... Теперь чисто, чинно.

Над дверью вокзала большой красный плакат, видимо, только что водруженный: Ein herzliches Gruss dem Deutschen Proletarien von uralischen Eisenbahnarbeitern.

Записал букву в букву. Неграмотно, но зато от чистого сердца.

У плаката зеваки, бесплодно силящиеся его расшифровать. Какой-то осанистый товарищ менторски разъясняет, что „это им насчет Амстердама". Подробностей, к сожалению, не расслышал.

Завтра из Перми приезжает немецкая рабочая делегация, и идет подготовка к встрече. Повсюду ее фетируют, и она очарована радушной страною Советов.

И воистину, что может быть лучше ее?!..

Как бы то ни было, ведется большая игра, и ради ее приза, пожалуй, сто́ит рискнуть...

Однако нужно торопиться записать московские впечатления. Пока еще Россией полны и сердце, и глаза, и голова...

Помню, как по мере приближения Москвы, она преображалась в сознании, в душе. На чужбине, в эмиграции, издалека она ощущалась огромным символом России, захватывала исторической величественностью, светилась в ореоле горя и славы. О ней мечталось, словно о Риме Третьем, и любовь к ней окутывалась атмосферою своеобразного романтизма. Сказывался „пафос дистанции"...

Но вот она все ближе и ближе. Ее облик уже начинает восприниматься конкретнее, облекаться в плоть и кровь. Она постепенно переходит в иной план сознания. Годы разлуки с нею, годы эмиграции представляются уже чем-то случайным, нереальным, эфемерным. Слава богу, они—в прошлом. Москва близко. Она—перед глазами.

Да, сердце не ошиблось, когда в 20-м году сказало внятно, повелительно:—Россия, Россия quand même!..

...Загородные дачи. Дачные поезда. Служилый люд течет на службу... Покупаю вишен на четвертак... Мелькают знакомые платформы... Оживает минувшее... Вот-вот на небесном фоне загорится и золотая шапка храма Христа...

Уже иначе ощущается Москва. Лицом быта, милого, неизменно ароматного обращается она к душе. Знакомые улицы, церкви, площади, знакомые дома. Куда ни глянь—кусочки дорогих воспоминаний юности, студенческой поры. О, эти кривые переулочки Арбата! Или веселый шум Театральной площади! Или закат у памятника Гоголя:

На Воздвиженке, у дома Морозовой,
Повстречалась мне моя мечта,
Догорал закат улыбкой розовой...

И теперь часами, днями бесцельно слонялся по улицам, вдыхая Москву. Чуть постарела, пожалуй. Чувствуется след героических, страшных лет. Там и здесь осунулись, посерели, полиняли здания. Особенно бедны церкви, как видно, за все это время не знавшие и поверхностного обновления. Нередко на штукатурке рассыпаны грязно-черные пятна—четкая работа пуль. На фасаде университета вместо старого motto „Свет Христов просвещает всех" читаем новое, ограничительное, ущербное: „Наука—трудящимся". Но и вокруг новой надписи—впадины старых пулевых попаданий: их не успели стереть.

Есть памятники, поставленные революцией. Но их немного, и они не очень примечательны. В конце Тверского бульвара, у Никитских ворот, вместо большого гагаринского дома, разгромленного октябрьскими снарядами, разбит нарядный садик и стоит памятник Тимирязеву. У Наркоминдела запечатлен Воровский. Вместо Скобелева, насупротив московского Совета, расположилась знакомая по Западу, благородная, бравая женщина—Свобода.

Шумят улицы, вечно полные оживленной толпой. Интенсивность уличного движения поражает сразу нового человека в Москве. Она, по-моему, превышает дореволюционную. И невольно напрашивается сравнение с 18 годом.

Я уезжал из Москвы после покушения на Ленина. Террор... Надвигался голод, в стране царил хаос, среди революционеров — энтузиазм. Москва замирала, холодела.

От этих дней (и последующих: 19 и 20 годы) теперь остались лишь отдаленные воспоминания. Город выздоровел и радуется своему здоровью. К вечеру Кузнецкий даже наряден. Текучи и пестры щебечущие ленты публики. Бодро выглядывают отлично снаряженные витрины магазинов, в большинстве государственных и кооперативных.

Шустро и широко раскинул свои щупальцы Моссельпром:

Нигде кроме,
Как в Моссельпроме!

Не хочет отстать и Ларек:

Купить в Ларьке—
Сохранить в кошельке!

Посильно поспешают во славу командных высот и прочие кооперативы:

Не давай купцам наживы:
Покупай в кооперативе!..

Чисто. На каждом шагу по улицам расставлены урны для окурков, огрызков, спичечных коробок. Воздействуют штрафами, также увещаниями:

Если хочешь быть культурным,
Мусор и окурки бросай в урны!..

Не всякому привычно быть культурным. Самому мне дважды пришлось поплатиться по рублю: по старой памяти, вскакивал на ходу в трамвай. Платил не без своеобразного удовольствия и квитанции бережно везу с собой. Кое-когда, впрочем, обходится и без штрафа, судя по окуркам. Особенно подальше от центра. Но в общем все-таки бесспорно: чистота и порядок.

Много пивных, по вечерам отменно шумных. И там, однако, тоже просят честью:

Товарищ, запомни правила три:
Не плюй, не сори, не кури.

Чуть не над каждым домом—антенна. Увлечение радио универсально: и в Москве, и в провинции. Слушают новости, концерты. Говорят, есть уже и радио-зайцы. Соответствующие типы на них усердно охотятся.

Бросается в глаза обилие книжных лавок и книг; говорят, не случайно: книга ходко „идет в массы". Бойко и живо в Охотном ряду. С отрадою осматриваешь давно невиданные вещи: землянику, крупные черные вишни, большие белые сливы, потом белугу, янтарную осетрину. Все это пропитано своим органическим вкусом,—не то, что на Дальнем Востоке, где цветы без запаха и люди без родины... На Пречистенке в один из первых дней завидел обыкновенную репу у зеленщика, свежую, прямо с огорода,—и не стерпел: тут же на улице принялся чистить и жевать. Соскучишься и по репе в далекой Манчжурии!..

„Плоть воскресла!"—припомнился животный, от нутра исшедший возглас Тана на заре нэпа. Плоть у Москвы, как у некой лермонтовской героини, право же, не менее духовна, чем душа.

Теплом веет там отовсюду, родным теплом домашнего очага. Хороши уютные летние вечера у старого Пушкина, когда кругом гудящая толпа, мальчишки продают левкои и розы, загораются красивые огоньки и голубые искры трамваев, и напротив—привычный, милый силуэт Страстного монастыря... Хороши ранние летние рассветы, когда тихо на улицах и бульварах, бледны лица утреннею бледностью, редки извозчики и прохожие, словно выточены недвижные листья деревьев Пречистенского бульвара, веет бодрящей прохладою, и светлеет, встречая первые солнечные лучи, купол золотого Храма... Хороши и деловые московские дни: и в них—дыхание домашнего очага...

А окрестности? Вечером, когда длинные тени и золотая земля, воистину неизреченна симфония запахов — в ней и мед, и полынь, и свежесть ручья, и листья, и смолистые иглы. Вот и деревня — вкрапливаются в симфонию нотки дыма и черного хлеба... Русь Тургенева, Чехова, обреченная навсегда, — ты еще догораешь в догорающих людях Тургенева, Чехова. И все же: люди уходят, а вот эти запахи, неизреченные, как символ, — русские запахи пребывают, пребудут, только иначе воспринимаемые, осмысливаемые, изображаемые...

4 августа 1925 года.

Подходим к Омску. Жара. Равнина, залитая солнцем. Церкви. Трубы. Сижу за своим окном...

...Омск, как на ладони... Прошлое... Географические точки—рубцы на душе... Минувшее мелькает в сознании, подобно вот этим телеграфным столбам, вот этим лентам красных вагонов... Куломзино.

Иртыш... Помню длинные вечера, запах плотов, там и сям непременный „Шарабан"... Белая мечта, белый сумбур... Усилия... Бессилие... Домик у Иртыша... Мимо, мимо!..

Вокзал. Вот с этого перрона провожал в Париж Ключникова. Он тогда бредил Версалем, а я Москвой... Теперь вот встретились в Москве — по-новому, но в то же время по-старому, верные себе, каждый по своему:

Не тронуты в душе все лучшие надежды
И не иссякло в ней русло творящих сил...

... Дальше едем. Омск позади. Степь. Бледно-голубое небо. Раскаленный воздух... Пишу Лежневу отзыв о его „России" в связи с трехлетним ее юбилеем. Между прочим, высказываюсь на „общую" тему:

„Революционная диктатура отнюдь не должна непременно осуществляться в идеологически спертом воздухе. Русская революция есть огромнейший исторический факт,—она будет оформляться в различных планах и различными категориями. На исходе восьмого года диктатуры явственно ощущается вся многогранность и сложность ее исторических истоков и ее объективного смысла. Пора вскрывать эту многогранность, уяснять этот смысл. Политическая монолитность революционной власти должна по условиям времени сохраниться, — но приходит пора, когда она может являться результатом широкой идеологической гармонии, а не бедного мотивами, нарочитого унисcона. Революция — мощный ритм, а не кургузый такт".

Увидит или не увидит свет эта скромная сентенция? Конечно, на севере цветы блеклы, но это все-таки цветы.

Милый, милый север, — и таким лучше ты всяких тропиков, и тихие цветы твои дороже сердцу всех заморских пальм и олеандров и уж тем более всех этих орхидей дряхлеющего, распадающегося духа...

... Ну, а теперь назад, к Москве. Пока, как живая, стоит в глазах.

Сегодня—о мавзолее. О том, самом, о коем сказано кем-то из нынешних одослагателей:

Пусть каждый шаг и каждый взгляд
Равняется на мавзолей.

Несмотря на подобные оды, непременно хотел побывать там: мавзолей — скиния революционной Мекки. Побывал, и впечатление глубоко проникло в душу.

Большая очередь. Хвост загибает на Ильинку. Но движется вперед быстро и почти безостановочно. Ожидание, степенные разговоры... Сзади меня какие то учительницы из провинции, впереди молодой красноармеец. Вот с таким же, как у этого, выражением лица, помню, смотрел на гробницу Наполеона в Доме Инвалидов рядом со мною такой же юный французский солдат...

Движемся. Сначала, предъявив какое-либо удостоверение, нужно получить билетик, затем перейти площадь и стать в черед уже у самого мавзолея.

Иду. Вечереет...

Деревянный, весь прямоугольный, мавзолей и по внешности производит впечатление какой-то приятной простоты. Вокруг него, за оградою цветы: только розы, штамбовые розы. Надпись: Ленин.

Вообще, чувствуется вкус, выдержанный, строгий стиль. Ни крикливости, ни плакатности. Никаких сентенций, лозунгов, изречений. Извне—прекрасные розы и четкие контуры прямых углов, внутри — черное дерево и красная материя, оформляемые тоже прямоугольниками. Часовые. Строго, истово, благородно. Какое разительное и эстетически отрадное отличие от привычных „Ленинских Уголков", миллионами рябящих в глазах...

Общая обстановка „настраивает". Пока ждешь, продвигаясь в очереди, — слушаешь бой Спасских часов, так глубоко западающих в душу, смотришь

на кремлевские стены, на Лобное место, на неизъяснимо чарующий храм Василия Блаженного... — и невольно охватывает возвышенное, сосредоточенное серьезное чувство. Мелькают мысли об исторической значительности нашей эпохи, о связи настоящего с прошлым, о том, что не случайна вот эта бесконечная змея странников и что никакие силы в мире не вычеркнут из русской истории этого мавзолея. Он—внешний знак русской идеи, не только русской эмпирии...

Вступаем внутрь. Прохладно. Тихо. Электрический свет. На лицах—волнение. И впрямь, естественно... В сознании—взволнованное ожидание: „сейчас увижу; не видел живого—взгляну на мертвого". Льва Толстого тоже видел только в гробу: на похоронах в Ясной Поляне.

Вот и гробница. Лежит под стеклом, виден со всех сторон, в одном из стекол лицо отражается, в отражении своеобразно оживляясь. Лежит во френче. Лицо мертвое, восковое, знакомое по стольким фотографиям. Несколько лишь неожиданен явственно рыжеватый цвет усов. Руки маленькие, и весь миниатюрный. Характерный лысый череп.

„Отсюда, мертвый, он правит Россией еще жестче и державнее, чем правил живой" — вспомнились слова какого-то иностранца. В этих словах — и правда, и ложь: теперь правит его имя, а не он сам...

Проходим медленно, не останавливаясь. Все глаза, все взгляды прикованы к одной точке... Выходим... Площадь... Мальчишки пристают с жетонами, медальонами: на память.

С восьми часов начинают впускать в течение часа-полутора (по будням — только иногородние), и льется неправильная, широкая волна — сотни, тысячи — ежевечерне.

У Спасской башни и Василия Блаженного, на старую Красную площадь, меж кремлевской стеною и памятником Пожарскому и Минину, выплеснула революция свою душу, свою гордость, свою эмблему: гробницу Ленина. И подлинное место ей — среди великих наших национальных исторических эмблем...

5 августа 1925 года.

Когда едешь по Сибири, глаз поражает обилие ребят на станциях, телят и жеребят на пастбищах. „Растет новое поколение". Растет новая Россия.

Какой-то стихийный, органический рост. Слышишь его, воспринимаешь всеми пятью, кажется, чувствами. „Прет словно из под земли". Здоровая сердцевина у нации. Пусть бедно, пусть еще плохо, пусть часто глупо, — есть в основе какое-то большое, многообещающее здоровье. Целительная сила природы вернее всяких суррогатов цивилизации. Уходят годы испытаний. Организм самотеком наливается жизненными соками.

Одним из несомненных „рефлексов" этого стихийного процесса является советское законодательство в области семейного права, глубоко проникнутое заботой о детях. Теория осмысливает при этом необходимость надежной „коммунистической смены". Но невольно в голову закрадывается еретическая мысль, что и тут, как всегда, Ее Величество Жизнь играет с теорией царственную, божественную игру:

> Grau, teuer Freund, ist alle Teorie
> Und grün des Lebens goldner Baum...

Как бы то ни было, повышенное внимание к детям бросается в глаза на каждом шагу в нынешней русской действительности: оно и вошло в быт. С детьми пропускают на трамвай через переднюю площадку. Бережно, как никогда прежде, относится к малышам уличная толпа, население трамваев, железных дорог, „жилплощадей". Это—голос нутра.

Но здесь опять пытливый вопрос: какова же нынче молодежь в России? В каких условиях зреет? Куда растет?

Мне приходилось, как „спецу" по этой части, довольно внимательно приглядываться к советской школе. Я убеждаюсь, что поскольку она перестраивается в заранее обдуманном, „плановом" порядке,— она переживает еще период исканий, нащупываний, опытов. В этом отношении Наркомпрос несколько отстает от других наркоматов, что естественно вытекает из его природы: в области просвещения плоды зреют медленнее, чем где бы то ни было. Эра опытов в деле военном не могла длиться более полугода: настоятельнейшая государственная необходимость положила ей прочный предел. В области народного хозяйства аналогичный предел наступил позднее, чем через два с половиною года, и был по существу менее резок: революционная катастрофа медленнее вошла, но зато постепеннее и выходила, сделав свое дело, из экономики страны. Что же касается народного просвещения, то здесь времена и сроки еще более растянуты, а кривая процесса еще менее крута и пикообразна.

Планы и сложные директивы Государственного ученого совета (Гус) весьма пестро усваиваются и и весьма многообразно преломляются в рядовой русской школе. Учительство, варящееся в котле перманентных „переподготовок", все же далеко не поспевает, как следует, переваривать обильные периодические порции руководящих указаний сверху. Современная русская школа является своего рода амальгамой, претворяющей в себе многие тенденции и разнохарактерные предположения. Это особенно относится к вопросам методическим, но, конечно, не может не отражаться и на существе, ибо, в известном смысле, всегда—„метод создает, или, по крайней мере, обусловливает предмет?".

Однако же, не тут действенный центр тяжести проблемы. Пусть еще длятся отважные искания, пусть еще не поспело время подлинной „нормализации" в сфере политики народного просвещения. Но уже и сейчас, вглядываясь в жизнь, можно сделать кое-какие выводы.

Страну, несомненно охватывает п о т р е б н о с т ь в з н а н и я х. Тяга к образованию есть теперь явление столь же органическое и стихийное, как рост деторождений. Должно быть, новая Россия рождается в духе, как и во плоти. И хотя современная русская школа, бедная и несовершенная, не в состоянии утолить этого массового духовного голода, — самая его наличность достаточно характерна, ручается сама

за себя. Раз такова потребность, она оправдывает себя, найдет способы добиться своего.

То же и высшая школа. Приходилось беседовать с многими профессорами. Не только московскими, но и провинциальными: в Москве я жил в общежитии Цекубу и сталкивался с ученым людом разных концов России. Расспрашивал тщательно о нынешней молодежи, об отличии ее от прежней, об ее качествах, ее „стиле". Пришлось (хотя, правда, поверхностно) и лично ее видеть. Общее впечатление, во всяком случае, создалось.

Да, „новые люди". У них и внешность другая: пролетарская. Они пришли в высшую школу с недостаточным запасом знаний, с недостаточным культурным и образовательным „фундаментом". Это главная их беда. Одни из них проходили среднюю школу в трудные годы всесторонней разрухи, другие вовсе ее не проходили и явились в вуз с каких-либо „ускоренных", скоротечных „курсов". Это мучительно отражается на их занятиях. Многие профессора с душевной болью отзываются о трудностях, с которыми, работая, борется эта молодежь. Ничего не поделаешь: такова судьба пионеров новой интеллигенции, суровая, как судьба всех пионеров.

Выправится средняя школа—выправится и высшая.

Наше старое студенчество в общей его массе не умело так жадно тянуться к учению, как нынешнее. У нас, поколения декаданса, было в крови слишком мало энтузиазма и слишком много скепсиса, чтобы верить в знание без оглядки и упиваться им безраздельно. Мы относились к истинам, нам преподававшимся, спокойнее, как к чему-то обыкновенному, будничному. Недаром и стих народного поэта насчет „сеяния разумного, доброго, вечного" мы не умели произносить иначе, как с полубрезгливой иронией. Мы ценили университет, любили его, но ведь он никогда не был для нас запретным плодом. Он был для нас чем-то в роде наследственного имущества.

Не то теперешняя университетская молодежь. В ней есть какой-то праздничный пафос знания, преклонение перед знанием. Она верует в силу науки, в непреложность научных истин со всею свежестью девственной натуры. Подобно тому, как человек, впервые пришедший на пышный пир, предается веселью тем непосредственнее и самозабвеннее, чем новее для него соответствующие впечатления,— так и социально новая молодежь исполнена священного благоговения перед пиршеством строгой науки. „Учоба" — это категорический императив. „Грызть гранит науки молодыми зубами" — это не только долг: это и наслаждение, и потребность, это „зов природы", это боевое знамя, это подвиг. Но самый образ — „гранит" и „зубы" — не случаен: легко ли грызть гранит зубами, хотя б и „молодыми"?..

По всей стране разливается сознание необходимости просвещения. Вплоть до последнего захолустья, последней деревушки. Массы поняли реально, на опыте, что темнота и впрямь большой порок. Жизнь заставила их это понять. Тут одна из огромных и бесспорных „заслуг" революции.

Говорят много о всеобщем обучении. Нельзя сомневаться, что оно будет осуществлено, и сравнительно скоро. Трудно провести реформы в атмосфере массового несочувствия или массовой пассивности. Но когда реформа назрела, когда к ней тянутся снизу и стремятся сверху,—ее воплощение предрешено и успех обеспечен. Уже и сейчас государственную школу дополняют миллионы самостоятельных индивидуальных усилий. Нередки случаи, когда деревня по своей инициативе приглашает из города интеллигентного человека учить ребят; впрочем, это явление наблюдалось чаще в предшествующие годы, когда внешние условия парализовали работу народной школы. Теперь эти условия постепенно изживаются.

Конечно, и поныне очень бьет еще нищета, и часто подчеркнуто мрачны доклады Наркомпроса. Но только Фомы неверные способны на этом основании отрицать наличие благих симптомов и отрадных перспектив.

Если население тянется к школе, то и новая школа, со своей стороны, ставит себе задачею ближе подойти к запросам, интересам, потребностям населения. Школа „американизируется", реформируется, отражая на себе изменение жизненных условий. „Связь школы с жизнью"—лозунг современной русской педагогической мысли. Лозунг этот уместен и плодотворен. На путях его осуществления первое время встречаются шероховатости. Но в конечном счете он сделает свое дело.

За границей часто говорили и говорят о всесторонней „развращенности" детей и юношества в России. Сама советская пресса в этом отношении дает благодарный материал: достаточно вспомнить хотя бы так нашумевшую повсюду смидовичскую статью „о любви" среди партийной молодежи.

Конечно, есть о чем тревожиться и есть над чем поработать. Дурного и печального много. Переходное время сказывается. Старые скрепы разрушены. Новые еще только создаются.

Но все же, как видно,— с о з д а ю т с я. И это главное. Элементы развала идут на убыль и в психике, как в экономике. Недаром „формальные навыки" (в специальном смысле слова) — в порядке дня современной школьной жизни. Но можно сказать, что формальные навыки — вообще в порядке дня. Дисциплинированность, выдержка, жизненный такт, уважение к себе и другим, словом, элементарные моральные условия здоровой социальной жизни заметно усваиваются новой нашей молодежью. И в то же время она активна, инициативна, самостоятельна. Приходилось подчас прямо любоваться ею, посещая школы (напр., колонию школы имени Радищева под Москвою). Н о в ы й т и п русского человека. Новая интеллигенция. Пусть в ее облике есть некоторые чуждые нам черты: — даже и взгрустнув втихомолку сердцем, поймем разумом их необходимость. Поймем, что проблема „отцов и детей" в такие переломные дни, как нынешние, объективно не может не обостриться. Наиболее чувствительным из нас представим утешаться, что зато в н у к и удовлетворят не только разум наш, но и сердце...

Нет, неправда, что советская школа уродует, калечит детей. Не следует переоценивать значение отдельных увлечений, наивностей, даже курьезов. Что же касается основной тенденции, то, конечно, нельзя не констатировать значительного укрепления

связи между государством и школой. Самодержавию и не снилось осуществленное теперь огосударствление школы. Думается, в значительной мере своей оно сохранится надолго. Не нужно чересчур удручаться безвкусицей всех этих „стенгазет“ и „красных уголков“, памятуя их служебный, прагматический смысл. Еще менее следует опасаться за „русскую культуру“, недостаточно культивируемую современным государством: русская культура все равно свое возьмет и уже берет. Необходимо лишь и русскую культуру воспринимать и осознавать „диалектически“. Она не „магазин сделанных вещей“, которые можно разбить палкой, а процесс непрерывного творчества и непрестанной самокритики.

Новая жизнь порождает новых людей. Новая школа хочет быть и фактически является школой революции. Новое поколение растет в атмосфере нового, революционного, вернее, пореволюционного быта. Революция для него прежде всего быт, культ революции — государственный культ и вместе с тем культ государственности. Революция стала государством. „Советский патриотизм“ — узаконенный политическими авторитетами термин. Теперешняя молодежь изучает революцию в государственных школах, а не готовит ее в подполье и не мечтает о ней в душных женевских кофейнях. Ясно, что тем самым по облику своему она радикально отличается не только от молодежи дореволюционной эпохи, но и от старшего поколения революционеров. Она предана революции, но по иному: она не страдала за нее, осчастливлена ею; не творила ее, а воспринимает готовой; не переживала с энтузиазмом революционных битв, а празднует с энтузиазмом по календарю революционные праздники; и, главное, имеет государство со всей его тяжеловесной мощью не против себя, а за собою. Она революционна ex officio и государственна par excellenee.

Рабоче-крестьянская молодежь советской России выйдет из государственной школы советской интеллигенцией. Советская интеллигенция исторически и психологически будет, конечно, детищем пореволюционного быта, пореволюционной России.

(День. Время обеда.)

Вагон-ресторан. Держит какой-то кавказский человек. Дороговато. Но зато честь-честью, все на месте: „по-старому“. Семашко вчера, удовлетворенный, написал в книге похвальный отзыв, к великому удовольствию хозяина. Кланялся, благодарил. Вечером вчера же, под пианино, какой-то длинный немец с какой-то нарядной харбинской дамой долго танцевали фокстрот. „Быт“. Скучно.

Обедают там, однако, лишь пассажиры, которые с достатком: „кусается“. Пролетариат питается по станциям, у будок с „торговлей съестными припасами“. („И этот царь политического строя выброшен на улицу!!“ — Жорэс в 1893 году). Как и в прежнее время, — помню колчаковский анабазис, — будки полны сытной, добротной сибирской снедью. Те же гуси, поросята, молоко. И те же бабы, и тот же пейзаж: —

А ты все та же: лес да поле,
Да плат узорный до бровей...

Та и не та. Что та, ощущаешь всем существом, везде, повсюду, каждый миг. Во всем. Вот в этом парне на платформе, в покосившемся станционном домике, в крепком словце, в песне, в телеге и кляче... Ну, а что не та?

Трудная тема, большая, спорная. Куда уж браться за нее, — да еще из окна вагона!.. Но этот мягкий, голубой вагон, покачиваясь, располагает к размышлениям... О чем? — Все о том же, конечно... Мысли о России... Образы России... Больше вопросы, нащупывания... Поменьше выводов: не они ли нас уже „вывели“ раз на край света, завели в тупики изгнанничества, безысходности, паралича?..

Итак, о новых людях в России. Народилась ли здесь новая порода людей?.. Новая порода, способная стать ферментом нового общества, создать новые социальные связи?

Конечно, меньше всего такой вопрос разрешается случайными личными впечатлениями, мимолетными наблюдениями улицы; „уши и глаза — плохие свидетели“ — учил еще темный Гераклит. Но отсюда, однако же, отнюдь не вытекает, что не следует слушать и смотреть.

Уже по населению московских автомобилей видишь всю разительность перемены правящего слоя. Я ожидал, что за семь лет верхушка революции внешне преобразится не менее, чем внутренно. Сознаюсь, что ошибся в ожидании: стиль советских автомобилей, в общем, тот же, что в 18 году.

За эти годы произошел, скорее, обратный процесс по части костюма и, вообще, внешнего облика. Не новые люди обзавелись обычной европеизированной осанкой, а, напротив, старая наша интеллигенция ее утеряла. „Кепка“ стала положительно вездесущей. Служилое сословие смешалось, „увязалось“ с рабочим классом. Вот на моторе член правления Госбанка, проф. А. А. Мануилов, бывший ректор московского университета. Постарел, поседел, но с непривычки обращает особое внимание костюм: коричневая рубашка и неизменная кепка. Вот проф. С. А. Котляревский, тоже на автомобиле, с группою кавказских людей (он юрисконсульт какого-то кавказского представительства): в грубой холщевой рубахе и вовсе без шапки. Сначала немножко странно бывало встречать старых своих знакомых в новом, „орабоченном“ наряде. Но, конечно, очень скоро привык. Диктатура кепки настолько универсальна, что даже самого скоро както потянуло ей подчиниться.

Конечно, это пустяки, внешность. Но и она характерна. Диктатура рабочего класса. Рабочий правит. Он — *„царь политического строя!“*...

Революция выработала уже и свой психический облик. В его основе лежит то, что мы называем „полуинтеллигентом“. Понатершийся рабочий, „третий элемент“, провинциальный читатель блаженной памяти битнеровского „Вестника Знания“. Человек „из категории ссылаемых“, согласно циничному *определению одного из моих университетских коллег.* Но с новой психологией, новыми навыками. Обломали сивку крутые горки. Вместо прежней „оппозиции“ — безграничная преданность существующему строю. Вместо прежней пустопорожней самонадеянности — ясное сознание трудности задач и ограничен-

ности сил. Больше трезвости: такова практика власти. Словом, по Шатобриану: „ils s'humanisent, ces méssieurs!“ Ну, конечно, не всегда и везде: подчас так и брызнет старой полуинтеллигентщиной. Но мало по малу она все-таки становится анахронизмом. *Не нужно нетерпения: необходимо, по крайней мере,* поколение, чтобы полуинтеллигенция стала, наконец, „полной“ интеллигенцией.

В этих людях нет глубокой культуры; зато есть свежесть воли. Их нервы крепки. Нет у них широкой теоретической подготовки; зато есть практическая сметка. Нет прекраснодушия; вместо него— здоровая суровость примитива. Нет нашей старой расхлябанности; ее съела дисциплина, проникшая в плоть и кровь. Нет гамлетизма; есть вера в свой путь и упрямая решимость идти по нему.

Эти люди прочно пронизаны узким, но точным кругом идей импульсов, и, как завороженные, как обреченные неким высшим роком, делают дело, исторически им сужденное:—

Собою бездны озаряя,
Они не видят ничего,
Они творят, не постигая
Предназначенья своего.

Но кроме них, кроме своих официальных, придворных когорт, революция формирует и более широкие свои кадры. Поток революции жестоко взбороздил русскую землю, взрыл глубоко лежавшие, исконно безмолвствовавшие человеческие слои. Новые люди, несомненно, появились. Они теперь испытываются, просеиваются, происходит естественный отбор. От них зачастую веет свежестью, и ощущается в них органическая сила. Недаром все чаще говорят о „самодеятельности крестьянства“. Россия стала народней. Ее облик выглядывает сейчас проще, элементарнее. Ушла с поверхности жизни старая интеллигенция с ее интересами и потребностями, с научными и религиозно-философскими обществами, толстыми журналами, „Русскими Ведомостями“. Новые времена — новые песни. Не скрою, в этой новой атмосфере и сам я подчас начинал себя чувствовать словно чуждыми, далеким, слишком старомодным человеком. Тоже „человеком заката“. Словно за бортом жизни, за бортом истории. И в сознании, своеобразно преломляясь, звучало тогда тютчевское:

Как грустно полусонной тенью
С изнеможением в кости
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

И думалось:— что же, будем, подобно Лаврецкому, приветствовать „племя молодое, незнакомое“. Пусть ищет свое солнце, как мы искали (и ищем?) свое. Роптать не станем никогда. Да и нечего роптать: разве не все пути ведут в Рим и разве солнце в конце концов не едино?

Как бы то ни было, революция, несомненно, обзавелась социальным кислородом, у нее есть свои верные батальоны, на которые она может положиться при всяких обстоятельствах и в любом отношении. За границею часто говорят о „казенных демонстрациях“, о „подстроенных народных протестах“ на улицах Москвы. Я убедился, что власть имеет возможность в любой нужный момент организовать весьма внушительную манифестацию, которая будет вместе с тем вполне „искренней“. Рабочие московского района в своей подавляющей массе настолько сжились с революцией и вжились в нее, *что преданы ей за совесть, а не за страх.* Они — аутентическая аудитория революции. Они выйдут на демонстрацию с искренним чувством и будут „протестовать“ и „торжествовать“, когда это нужно, от горячего, чистого сердца. Революционное воспитание и тренировка диктатуры сделали свое дело. Масса чувствует себя правящей и тогда, когда она управляема. Это ли не здравая диалектика власти? Это ли не логика революции?

Конечно, рабочие — одно, а советские чиновники— другое. У этих психология сложнее. Бывает, когда и служилое сословие Москвы выходит на улицу для восторгов или для протестов. Тогда их стиль соответственно меняется. Но, повторяю, в распоряжении правительства всегда имеются достаточные и верные кадры для демонстрации подлинных проявлений народного гнева и народной любви. Пусть капризен народный гнев и зыбка народная любовь:— все же это фактор...

Аппарат власти налажен. Непосредственное окружение ему благоприятно. Разумеется, ему не изменить ни больших законов экономики, ни законов истории. Ему приходится быть г и б к и м. И именно п р а к т и ч н о с т ь, т р е з в о с т ь новых людей позволяет им успешно учиться у верховной наставницы и общей нашей правительницы—всемудрой и всемогущей Жизни.

Иллюзии гибнут—Идея пребывает...

(Вечер).

6 августа 1925 года.

Тайга. Проезжаем тайгу у Нижнеудинска. В открытое окно смотрит хмурый лес: сосны, лиственницы, березы. Моросит легкий дождичек. Хорошо. Благодать... Стога сена, только что собранного... Две лошаденки у костра... Косари... Белый ковер ромашек... Розовые цветы, нарядные. Быстро мелькают деревья... Сибирь.

Возмущается сосед-француз:

— У вас столько земли, и какая земля! Займитесь же ею! А вы вместо этого все мечтаете о том, как бы осчастливить других... Или—je demande mille pardons—пускаетесь в авантюры, хватаясь за Корею, как царь, или за Монголию, как нынешнее ваше правительство. Ho-la-la!..

Что ему сказать:—

Умом России не понять...

Он этого не поймет. Он приятен, умен, интеллигентен. Чисто моется, гладко бреется. Пахнет от него одеколоном и мылом. Это очень хорошо, и нам до этого еще далеко. Но... где ж понять ему, что ему России не понять?

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный...

Вот сейчас сидит напротив и читает по-французски Оссендовского „Боги, люди, звери“. Захватил с собою из Парижа, дабы лучше проникнуться

русской экзотикой. Беседуем. Я больше слушаю, любезно расспрашиваю, помалкиваю.

— Нет, серьезно, если вы не хотите потерять *последних симпатий во Франции, обуздайте Третий* Интернационал. Я это говорю всем моим русским друзьям. Я это от всей души сказал и à monsieur le ministre (Семашке). Кстати, какой это достойный человек, brave homme... Et il aime sa patrie! Я убедился в Москве, как много он сделал для своей родины.

И снова, возвращаясь к Франции:

— Вы не можете себе представить, как смешон этот Дорио с марокккскими своими выступлениями. Конечно, у нас свобода, пусть себе выбалтывается... Но все же ça nous embête enfin... А у вас—такие пространства, такие богатства!..

Он много и резонно говорит о Дорио, о том, как вся нация против него и против коммунистов, как их не боятся, как над ними смеются, как *хороша жизнь во Франции, как легко преодолимы* финансовые затруднения,—а за всеми этими храбрыми словами чувствуется непрерывно какая-то глухая, глубокая тревога, душевная дрожь, и кажется, что в глазах его вот-вот промелькнет стихийный смертный ужас. Вспоминается почему-то блоковское:—

И старый мир, как пес паршивый,
Стоит за ним, поджавши хвост...

И в его взглядах на плывущие целины, на тайгу в ее дикой красе, на просторы—чудится („иль это только снится мне?") бессильная, безнадежная, жадная зависть умирающего старика к юной жизни, к молодости, сильной уже одним тем, что перед нею—будущее. Конечно, я не делюсь с ним этими мыслями-снами...

— Прекрасная страна. *Вам хватит тут работы* на сотни лет!..

Хватит. И это главное. Нет исчерпанности. Нет, правда, „святых камней", но зато есть святой огонь. Россия вся—в порыве к будущему, вся im Werden. Этого не может, думаю, не чувствовать всякий, кто побывает в ней.

Но, быть может, именно потому, что она „устремлена в будущее" и „града грядущего взыскует",—так много изъянов, так мало устойчивого равновесия в ее настоящем. Она „смотрит вдаль", любит „дальнее",—и „ближнее" страдает, ближнее в беспокойстве. Пронизанной „Логосом", словно ей еще чужд „здравый смысл":—

...Но тебе сыздетства были любы—
По лесам глубоких скитов срубы,
По степям кочевья без дорог,
Вольные раздолья да вериги,
Самозванцы, воры да расстриги,
Соловьиный посвист да острог.

Вспоминается Достоевский:

— Нужно быть, действительно, великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла.

И еще:

— Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда.

Труд будет. Труд идет уже. Приходит, как мы видели, и трезвость, т.-е. тот же „здравый смысл". Все дело в том, чтобы „устоять" против него, даже и усвоив, претворив его в себя. А вот понадобятся ли немцы, пока неясно. Шпенглер уже пытается *разрешить* русское „*недоразумение*". Но неожиданно решает его в том смысле, что оно само разрешит себя, без немцев, безо всякой Европы.

Опять „диалектика": труд—и „недоразумение", здравый смысл—и „Логос", вериги—и расстриги, немцы—и Шпенглер. Лучше всего, впрочем, этой русской диалектике учиться не у Гегеля, а у Достоевского, Тютчева, отчасти Соловьева, Леонтьева...

Сильна ты нездешней мерой,
Нездешней страстью чиста,
Неутоленной верой
Твои запеклись уста.

Этот тихий гимн, похожий на молитву, навевают в открытое окно деревья, сибирская глушь, московские воспоминания, русский воздух.

...Попробуй, объясни это моему уважаемому спутнику. Пожмет плечами, ну, снисходительно и вежливо улыбнется. Умный, воспитанный человек.

Однако, ведь и он чувствует, что перед ним—„юный мир", который разумом он считает низшим, но который подсознательно ощущается им, как нечто темное, могучее, жуткое, азиатское... и вместе с тем неотвратимо идущее на смену многому, что так дорого его душе... И нам тоже дорого... Но...

В самом деле:—

Виновны ль мы, что хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?..

ИКС.

ЕВГ. ЗАМЯТИН.

В спектре этого рассказа — основные линии: золотая, красная и лиловая, так как город полон куполов, революции и сирени. Революция и сирень — в полном цвету, откуда с известной степенью достоверности можно сделать вывод, что год — 1919-й, а месяц — май.

Это майское утро начинается с того, что на углу Блинной и Розы Люксембург появляется процессия — повидимому, религиозная: восемь духовных особ, хорошо известных всему городу. Но духовные особы размахивают не кадилами, а метлами, что переносит все действие из плана религии в план революции: это — просто нетрудовой элемент, отбывающий трудовую повинность на пользу народа. Вместо молитв, золотея, вздымаются к небу облака пыли, народ на тротуарах чихает, кашляет и торопится сквозь пыль. Еще только начало десятого, служба — в десять, но сегодня почему-то все вылетели спозаранок и гудят, как пчелы, перед роением.

В тот день (1919, 20/V) все граждане в возрасте от 18 до 50 лет, за исключением самых нераскаянных буржуев, состояли на службе, и всех от 18 до 50 явно ждало сегодня что-то необычайное во всевозможных УЕПО, УЭКО, УОНО. Главное, что это было „что-то“, что это был икс, а природа человеческая такова, что ее влекут именно иксы (этим прекрасно пользуются в алгебре и в рассказах). В данном случае икс произошел от раскаявшегося дьякона Индикоплева.

Дьякон Индикоплев, публично признавшийся, что он в течение десяти лет обманывал народ, естественно пользовался теперь доверием и народа и власти. Иногда случалось даже, что он ловил рыбу с товарищем Стерлиговым из УИК'а — так было, например, вчера вечером. Оба глядели на поплавки, на золото-красно-лиловую воду и беседовали о головлях, о вождях революции, о свекольной патоке, о сбежавшем эсере Перепечко, об акулах империализма.

Здесь — совершенно некстати — дьякон заметил, конфузливо прикрывшись ладонью:

— А у вас, товарищ Стерлигов — извиняюсь — штаники сзади... не то, чтобы это самое, а в роде как бы...

Товарищ Стерлигов только почесал шубу на лице:

— Ладно — до завтра доживут! А завтра, должно быть, служащим прозодежду выдавать будут — из центра бумага пришла. Только насчет прозодежды — это я вам по секрету.

Когда с тремя ершами дьякон возвращался домой, он по дороге, конечно, стукнул в окно телеграфисту Алешке и сказал ему — конечно, по секрету. А телеграфист Алешка, как вам известно, поэт, он написал уже 8 фунтов стихов — вон там, в сундуке, лежат. Как поэт, он не счел себя в праве хранить тайну в душе: призвание поэта — открывать душу настежь для всех. И к утру все от 18 до 50 знали о прозодежде.

Но никто не знал, что такое прозодежда. Всем ясно было одно: прозодежда есть нечто, ведущее свою родословную от фигового листа, т.-е. нечто, прикрывающее наготу адамов и украшающее наготу ев. А общая площадь наготы тогда была значительно больше площади фиговых листьев — настолько, что, например, телеграфист Алешка давно уж ходил на службу в кальсонах, посредством олифы, сажи и сурика превращенных в серые, с красной полоской непромокаемые брюки.

Естественно поэтому, что для Алешки прозодежда воплощалась в брючный образ; но она же для красавицы Марфы расцветала в майскую розовую шляпу, для бывшего дьякона уплотнялась в сапоги — и так далее. Словом, прозодежда — явно, нечто подобное протоплазме, первичной материи, из которой выросло все: и баобабы, и агнцы, и тигры, и шляпы, и эсеры, и сапоги, и пролетарии, и нераскаянные буржуи, и раскаявшийся дьякон Индикоплев.

Если вы рискнете сейчас вместе со мной нырнуть в пыльные облака на улице Розы Люксембург, то сквозь чох и кашель вы явственно услышите то же самое, что слышу я: „Дьякон... С дьяконом... Где дьякон? Не видали дьякона?“ Только один дьякон, как опытный рыболов, мог вытащить этот зацепивший всех крючок — икс, с наживкой из прозодежды. Но дьякона здесь не было: дьякона надо искать сейчас не в красной линии спектра, а в сиреневой, майской, любовной. Эта линия пролегает не по Розе Люксембург, а по Блинной.

В самом конце Блинной, возле выкрашенного нежнейшей сиренево-розовой краской дома, стоит раскаявшийся дьякон. Вот он постучал в калитку — через минуту мы услышим во дворе розовый Марфин голос: „Кузьма Иваныч, это вы?“ — калитка откроется. В ожидании дьякон разглядывает нарисованную на калитке физиономию с злодейскими усами и с подписью внизу: „Быть по сему“. Неизвестно, что это значит, но дьякон тотчас вспоми-

нает, что он — бритый: с тех пор, как, раскаявшись, он снял усы и бороду — ему постоянно чудится, что он будто снял штаны, что нос торчит совершенно неприлично и его надо чем попало прикрыть — это сущая мука!

Прикрывши нос ладонью, дьякон стучит еще раз, еще: никого. А между тем Марфа дома: калитка заперта изнутри. Значит — что же? — значит, она там... Дьякон ставит внутри себя именно это, только что здесь изображенное графически, многоточие и, ежеминутно спотыкаясь на него, идет к Розе Люксембург.

Через несколько минут на том же самом месте возле нежнейшего розового дома нам виден телеграфист и поэт Алешка. Он тоже стучит в калитку, *созерцает усатую физиономию, ждет. Стоит спиной* к нам: только темный затылок и уши, оттопыренные как-то очень удобно и гостеприимно — как ручки у самовара.

Вдруг весь Алешка становится почти ненужным гарниром к собственному правому уху: живет только ухо — глотает шопот, шорох, шаги во дворе. Поэту нужно все знать и все видеть: он метнулся к забору, ухватился за край, подпрыгнул, разорвал рукав — и там, во дворе, под сараем, на один миг увидел нечто.

Пожалуй, не стоит рвать рукава и лезть на забор за поэтом: все равно — раньше или позже мы узнаем, что там увидел Алешка. А пока об этом можно судить по его лицу: с разинутым ртом и круглыми глазами Алешка походил сейчас на тех, беспощадно нанизанных на веревочку ершей, которые *вчера вечером болтались в дьяконовой руке* перед окном у Алешки. В ершовом виде Алешка простоял ровно столько, сколько ему потребовалось, чтобы к увиденному подобрать рифму (рифмой увиденному оказалось слово „осечка"). Затем он сорвался с веревочки, на которую нанизала его судьба, и помчался к Розе Люксембург.

Там сейчас подготовлялась катастрофа: столкновение в некоей человеческой точке двух враждующих линий спектра — красной и золотой, революционной и купольной.

Этой человеческой точкой был дьякон. Одет он был в бордовые штаны и толстовку, сшитые из праздничной рясы, — и виден был издалека, как зарево или знамя. Чуть только он забагровел в облаках пыли — к нему, как к магниту, повернулась вся Роза Люксембург — к нему прилипли десятки вопросов, рук, глаз. Дьякон был на невидимом пьедестале и с пьедестала раздавал каждому: „Да, прозодежда... Да-да, бумага из центра".

Но один из народа (бас) брякнул:

— Какая там бумага! Ври больше!

— То-есть, как это — „ври больше"?

— А так, очень просто.

— Не веришь? Ну гляди — ну, вот те крест святой — ну? — и чтобы удержаться на пьедестале, раскаявшийся дьякон, забыв о раскаянии, действительно перекрестился. Затем вдруг побагровел — рефлекс другой линии спектра — и с пьедестала грохнул вниз.

Катастрофа эта была вызвана тем, что из соседнего облака пыли прямо в упор на дьякона глядела козья ножка, вправленная в меховое лицо: Стерлигов из УИК'а. И, конечно, он видел, как дьякон перекрестился.

Дьякон мучительно почуял свой голый нос, прикрыл его рукою, другую прижал к сердцу.

— Товарищ Стерлигов... товарищ Стерлигов, простите ради Христ...— и, побагровев еще пуще, замер.

Стерлигов вынул изо рта цыгарку, хотел что-то сказать, но ничего не сказал — и это было еще страшнее: только молча поглядел на дьякона и пошел. Дьякон, как лунатик, все еще прижав руку к сердцу, за ним.

Еще пять-десять строк — и, глядишь, дьякон придумал бы, что сказать, и был бы спасен, но как *раз тут из-за угла вывернулся* Алешка. Он *подскочил* к Стерлигову и вместо того слова, какое было нужно, выпалил рифму:

— Осечка! То-есть... я хочу...

И замолчал, оглядываясь, переминаясь с ноги на ногу — непромокаемые брюки его чуть погромыхивали, как бычьи пузыри, на каких ребята учатся плавать. Стерлигов сердито выплюнул цыгарку.

— Ну? По какому делу?

— По... по секретному, — шепнул Алешка.

В пыльных волнах кругом плавали десятки ушей — шопот услышали, и он побежал дальше, как огонек по пороховой нитке. Секретное Алешкино дело, неведомая прозодежда, катастрофа с дьяконом — это было уже слишком много, в воздухе носились тысячи вольт, нужен был разряд.

И разряд совершился: хлынул дождь. Все от 18 *до 50 спасались в подъезды, в подворотни и от*туда глядели на шурщащий, сплошной стеклярусный занавес. Ничего-о, пусть льет: дождь этот одинаково нужен как для хлебов республики, так и для последующих событий рассказа: в сумерках по следам на влажной земле преследователям будет легче искать некоего убегающего от них икса.

Все, кто видал дьякона вот сейчас, на Розе Люксембург или раньше — знают, что это мужчина здоровенный. Так что, может быть, я рискую неприятностью при случайной встрече с ним в другом рассказе или повести — но тем не менее я считаю своим долгом разоблачить его здесь до конца.

Раскаявшись и обрившись, дьякон Индикоплев напечатал буллу к прежней своей пастве в „Известиях" УИК'а. *Набранная жирным цицеро* булла была расклеена на заборах — и из нее все узнали, что дьякон раскаялся после того, как прослушал лекцию заезжего москвича о марксизме. Правда, лекция и вообще произвела большое впечатление — настолько, что следующий клубный доклад, астрономический, был анонсирован так: „Планета Маркс и ее обитатели". Но мне доподлинно известно: то, что произвело в дьяконе переворот и заставило его раскаяться, — был не марксизм, а марфизм.

Родоначальница этого внеклассового учения, до сих пор только чуть-чуть показанная между строк, однажды ранним утром спустилась к реке — искупаться. Разделась, повесила на лозинку платье, с камушка опустила в воду пальцы правой ноги —

какова сегодня вода? — плеснула раз, другой. На сажень влево сидел под кустом (тогда еще не раскаявшийся) голый дьякон Индикоплев и подтягивал вентерь, поставленный в ночь на раков. Привычным рыболовным ухом дьякон услышал плеск: „Эх, должно быть, крупная играет!“ — взглянул — и погиб.

Марфа повела плечами (вода холодновата) и стала венком закладывать косу кругом головы — волосы спелые, богатые, русые, и вся богатая, спелая. Ах, если бы дьякон умел рисовать, как Кустодиев! — ее, на темной зелени листьев, поднявшую к голове руки, в зубах — шпилька, зубы — сахарные, голубовато-белые, на черном шнурочке — зеленый эмалевый крестик между грудей...

Тотчас же встать и уйти дьякон не мог — по случаю своей наготы, одеваться — белье было одна срамота. Поневоле пришлось вытерпеть все до конца — пока Марфа наплавалась, вышла из воды (одно это: как скатывались капельки с груди, с кончиков!), оделась — не спеша. Дьякон вытерпел, но с того именно дня стал убежденным марфистом.

В сущности, к евангелию марфизм был гораздо ближе, чем к марксизму. Так, например, несомненно, что основной заповедью Марфа считала: „возлюби ближнего своего“. Для ближнего — она всегда готова была, по евангелию, снять с себя последнюю рубашку. „Ах ты, бедняжечка мой, ну что ж мне с тобой делать? Ну, поди, миленький, ко мне — ну, поди!“ — это она говорила эсеру Перепечко („бедненький, в тюрьме сидел!“), говорила Хаскину из ячейки („бедненький — шейка прямо как у цыпленка!“), говорила телеграфисту Алешке („бедненький, все сидит — пишет!“), говорила...

Тут-то в дьяконе и обнаружилось это проклятое наследие капитализма — собственнический инстинкт. И дьякон сказал:

— А я желаю, чтоб ты была моя — и больше никому! Если я тебя... ну, вот как... ну, не знаю как... — понимаешь?

— Ах ты, бедненький мой! Да понимаю же, понима-аю! А только что ж мне с ними делать, когда они Христом-богом просят? Ведь не каменная я, жалко!

Это было в тихий революционный вечер, на лавочке у Марфы в саду. Где-то нежно татакал пулемет, призывая самку. За стеною в сарае горько вздыхала корова — и в саду еще горчее вздыхал дьякон. Так бы и шло, если бы судьба не пустила в ход красного цвета, каким окрашиваются все перевороты в истории.

Как-то раз вместо хлеба гражданам выдали по бидону разведенного на олифе сурика. Весь день дьякон громыхал босыми ногами по железу — красил в медный цвет крышу. А когда стемнело, дьяконица (соседки ей уже давно шептали про дьякона) задами пробралась к Марфе в сад. В руках у ней был узелок, а в узелке — нечто круглое: может быть — бомба, может быть — отрубленная голова, а может быть — горшок с чем-нибудь. Через десять минут дьяконица вылезла из сада, обтерла о лопух руки (не в крови ли они?) — и вернулась домой. Затем — как всегда: звезды, пулемет, в сарае вздыхала корова, на лавочке в саду — дьякон. Он вздохнул раз-другой — и выругался:

— Фу, ч-чорт! И тут краской воняет — никуда от нее не уйдешь, нынче за день весь насквозь пропитался!

Но, к счастью, у Марфы на груди была приколота веточка сирени. Дорогие товарищи, знакома ли вам эта надстройка на нежнейшем базисе — согласно учению марфизма? Если знакома, вы поймете, что дьякон скоро забыл о краске и обо всем на свете.

Неудивительно, что утром дьякон еле продрал глаза к обедне. Скорей одеваться — схватил штаны... Владычица! — не штаны, а прямо знамя: все вымазано красным. И у серого подрясника — все сиденье красное, и все полы красные... Лавочка-то вчера в саду была выкрашена — то-то оно и пахло.

Дьякон кинулся к шкафу — надеть другие брюки, которые не представляли бы собой наглядной диаграммы его греха, но шкаф был пуст: дьяконица все припрятала.

— Нет, Гришка ты этакой Распутин, так и иди! — *кричала дьяконица*, — *иди, иди*, чтоб все добрые люди видели! Не-ет, не дам, иди!

Так и пошел — как некогда пророк Елисей — со стадом гогочущих мальчишек сзади.

Никому и никогда не удавалось изобразить по-настоящему самум, землетрясение, роды, катценяммер. Нельзя изобразить то, что происходило в дьяконе, когда он служил эту обедню. Важно одно: к концу обедни дьякон оценил завоевания Октябрьской революции и, в частности, то, что революцией разрушена тюрьма буржуазного брака.

На другой день дьякон отнес к портному праздничную рясу. А через два дня в бордовой толстовке, бритый, стыдливо прикрывая рукой бесстыдно выскочивший нос, заявился к Марфе — сказать ей, что из-за нее он решил погубить душу, отречься от всего, с дьяконицей развестись и жениться на ней, Марфе.

— Ах ты, бедненький! Ну поди, поди ко мне... да что это у тебя глаза этакие чудные?

— Что — глаза! Тут мозги наперекосы пойдут — от всего от этого...

Мозги у дьякона шли наперекосы: как в бурсе, он опять сидел и зубрил тексты — теперь из Маркса — и каждый вечер ходил на занятия здесь, в кружок. Но под марксизмом дьякона скрывался чистейший марфизм: после моих беспристрастных свидетельских показаний это должно быть ясно для суда истории. А затем, граждане судьи истории, разве не на ваших глазах этот якобы раскаявшийся служитель культа только что перекрестился публично? Это видела вся Роза Люксембург и в том числе уважаемый тов. Стерлигов из УИК'а, — неужели этого мало?

Вся Роза Люксембург была сейчас театральным залом: стеклярусный дождевой занавес раздвинут, ложи — подворотни полны публики, сотни глаз прикованы к сцене. Сцена — две конструктивных по Мейерхольду площадки: два подъезда с навесами у входов в галантерейный магазин Перелыгина (входы, конечно, забиты досками: год — 1919-й). Действие развертывается одновременно на обеих пло-

щадках: справа — Стерлигов и телеграфист Алешка, слева — марфист-дьякон и Марфа.

Алешка бледен, как Пьеро, и только оттопыренные уши нагримированы красным. Алешка с трудом *(публике это видно) произносит наконец*, какое-то слово — у Стерлигова цыгарка падает на земь, он хватается за кобуру револьвера. Затем подымает обе руки к Алешкиной голове — как будто, чтобы взять ее за ручки, как самовар, и снять с плеч. Голова остается на плечах, но несомненно Стерлигов говорит что-то в роде: „Ну, если врешь— голову с плеч долой!“ И оба действующих лица сходят со сцены — вернее, сбегают — Стерлигов за рукав волокет Алешку куда-то за кулисы.

На левой площадке — явно, любовный диалог. Дьякон начинает его скупо, без жестов — и только видно, как в кармане его толстовки мечется и прыгает что-то, будто там зашита кошка: это — стиснутый дьяконов кулак. Можно поручиться, что он спрашивает Марфу: „Ты мне почему сегодня утром не открыла? Кто у тебя был? Нет, говори — кто? Слышишь?“. Марфа подымает брови, вытягивает губы — так же, как когда говорят ребенку „агу-агунюшки“. Это на дьякона уже не действует — мозги у него, явно, пошли наперекосы, кошка сейчас выпрыгнет из кармана. Но публика в ложах его стесняет, видно, как он говорит только (текст приблизительный): „Ну, ладно — погоди!“ — и уходит с твердым решением (— кошка в кармане каменеет): вечером спрятаться в саду у Марфы и подстеречь соперника.

Представление кончено. Марфа остается на сцене одна, раскланивается с публикой. Публика все еще не расходится, — дождь припустил сильнее и промокнуть до костей решаются только те, кто волею судеб вплетен в основную сюжетную нить, как, например, Стерлигов и Алешка-телеграфист.

Мокрые, они уже входили сейчас в учреждение, которое в тот же год носило имя гораздо более чеканное и металлическое, чем теперь. Рябой солдат равнодушно насадил Алешкин пропуск на свой штык, где уже трепетал десяток других алешек, превращенных в бумажные лоскуты. Потом—бесконечный коридор, какие-то летучие, почти прозрачные лица, сделанные из человеческого желатина. И перед дверью кабинета за столиком барышня, из этой особой породы—секретарш (в собачьей вселенной секретаршами служат, несомненно, болонки).

У Стерлигова сквозь меха на лице—или от волнения—голос глухой.

— Папалаги у себя?

Болонка юркнула в кабинет, выскочила обратно, помахала Стерлигову хвостиком:

— Пожалуйте.

И через секунду телеграфист Алешка уже стоял перед самим товарищем Папалаги. На столе возле него—тарелка с самой обыкновенной пшенной кашей, и удивительно, что он ест самым обыкновенным способом, как все. Но усы у Папалаги—громадные, черные, острые, греческие—или еще какие усы...

— Ну, гражданин... как вас? ага! — рассказывайте. Ну?

Колени у Алешки так тряслись, что он сам слышал, как шуршат, вроде пузырей, непромокаемые брюки. Заикаясь, с точками и точками с запятой после каждого слова, Алешка доложил, что нынче утром во дворе у гражданки Марфы Ижболдиной, он видел эсера Перепечко, который эсер, явно, ночевал на сеннике в сарае.

— Тем лучше: сам к нам на рога лезет (действительно: острые усы были как рога). Тем лучше, тем лучше...—Папалаги нажал звонок, в дверях—желатинное лицо.—Вот что: сегодня вечером на Блинной улице поставьте... Впрочем—потом. Пока идите. Вы тоже можете итти (это—уже Алешке, и Алешка непромокаемо шуршит из кабинета).

Тишина. Пшенная каша. Рога нацелены на Стерлигова.

— Чорт возьми! — понимаете: сотрудники заявляют, чтоб им выдать прозодежду. И нужно же им было там, в Москве... Слушайте, Стерлигов: у вас там в магазинах ничего не осталось, чтоб реквизировать и роздать им?

Стерлигов роется в своих мехах, уставившись в пшенную кашу...

— Гм... Разве только у Перелыгина еще кой-что...

— Ну, у Перелыгина, так у Перелыгина. Только скорей распорядитесь, чтоб привезли сюда. Момент такой, что, понимаете... Этот сукин сын Перепечко...

Каша. Тишина. Шелк дождя за открытым окном. Запах сирени, проникающий даже сюда без всяких пропусков. В ложах подворотней на Розе Люксембург публика все еще ждет хоть коротенького сухого антракта.

Но вместо антракта—представление неожиданно возобновляется: на одну из сценических площадок входят трое милиционеров (статисты без слов) и человек в белой мохнатой куртке, сшитой из купальной простыни. В ложах его тотчас узнали и шопотом заволновались:

— Сюсин! Сюсин из Упродкома! Сюсин!

Слабое мание руки великого Сюсина, треск отдираемых от дверей досок,—милиционеры уже волокут из магазина какие-то картонки и валят их на бывшую городского головы линейку.

Дождь сразу перестал, как перестает реветь капризный мальчишка, заметив, что на него уже не смотрят. Под солнцем блестела на линейке черная, еще мокрая, клеенка. С крыш что-то кричали народу воробьи. Народ от 18 до 50 кричал на сцену:

— Эй, товарищи! Чего это у вас там?

Милиционеры, которым от автора не дано было слов, молчали. Сюсин выдержал паузу и вполоборота бросил небрежно—как теперь, в 1925—м, закурив, бросают спичку:

— Прозодежда.

И от Сюсинской спички тотчас же загорелась вся Роза Люксембург от 18 до 50.

— Прозодежда? Куда? Кому? А-а, так, а нам—шиш? Граждане, трудящие, держи их! Граждане!

Сюсин вскочил в линейку, за ним милиционеры. Один из них стал нахлестывать лошадь так, как будто это был классовой враг,—пожалуй, даже без „как будто“: лошадь была купеческая. Сивый классовый враг пустился во всю прыть, унося тайну прозодежды.

Через полчаса в кабинете у Папалаги телефон звонил, что по случаю прозодежды—волнение. Всем

от 18 до 50 по добавочному купону Б выдали спички—один коробок на троих. Народ от 18 до 50 зажужжал еще пуще—как пчелы, в воздухе ощущались рои событий, и пока еще неизвестно только, где они привьются, где повиснут спутанным, темным, крылатым клубком.

Раскаявшийся дьякон Индикоплев снимал теперь комнату. Дом, дьяконицу, детей, деньги, диван — все прочные „*д*“ дьякон оставил позади и жил теперь среди революционных „*р*“: фотографии Маркса и Марфы, кровать без простынь, огрызки, брошюры, окурки. Когда в сумерках дьякон вернулся сюда и голый нос спрятал в грязную подушку, все эти „*р*“ закружились, кровать колыхнулась и отчалила вместе с дьяконом от реальных берегов.

Тотчас же руки, ноги, пальцы — где-то за сто верст и в то же время—вот тут рядом: как на карте—кружки городов. Дьякон проскочил сквозь себя по некой спирали и стал в уголку, откуда все было видно. И совершенно ясно было, что там, где голый, выбритый дьяконов нос,—там Москва, уткнувшаяся в кислые перья подушки. Чтобы не задохнуться—надо поднять руку, выпростать Москву из перьев, но дом, дьяконица, дети, диван придавили,—конец! Перекреститься бы—но нельзя: из уголка своего дьякон видит, что на нем не ряса, а бордовая толстовка, и на стене—меховой, похожий на Стерлигова, Маркс...

От Стерлигова—как вязальной иглой кольнуло куда-то в живот, лежачий стоверстный дьякон и крошечный в уголку—соединились в одного, этот один вскочил, открыл окно. На кладбище звонили ко всенощной, за углом солдаты пели интернационал—и невозможно, чтоб это было вместе, надо было скорее распутать, скорее разыскать Стерлигова, объяснить ему, что ей-богу же — никакого бога нет, а есть... а есть... Что, ну—что есть, что?

Дьякон отчаянно махнул рукой и побежал в УИК. Там сказали, что Стерлигов, наверное, в клубе, наверху. Дьякон полез наверх, открыл обитую драной клеенкой дверь, вошел.

В огромном зале—за сто верст, на дне—мигала в дыму керосиновая лампочка. Старушка за роялью играла миньон, в мешочных рубахах милиционеры пятились миньоном назад, натыкаясь с хохотом друг на друга. Шли занятия балетно-драматической студии для милиционеров, густо пахло 1919 годом (примечание для тех, кто забыл: запах 1919—санитарный вагон).

Дьякон крикнул:

— Товарищ Стерлигов здесь?

Миньон затвердел, старушка вынула платок и не то сморкалась, не то плакала. Дьякон прикрыл голый нос ладонью и сказал, глядя в чьи-то, отдельно повисшие в дыму, веселые зубы с цыгаркой:

— Мне товарищу Стерлигову объяснить, что бога... Мне—по срочному делу: нельзя ли сейчас—узнайте.

— Ладно... — и, пятясь миньоном, милиционер пропал в темном углу.

Короткая, в $^3/_8$, пауза, заполненная смесью колокола с интернационалом (окно открыто). Когда $^3/_8$ прошло, дьякон издали—за сто верст — услышал сквозь дым:

— Нельзя. Велел вас задержать. Сядьте пока тут.

Дьякон послушно сел. Старушка всхлипнула последний раз и заиграла, милиционеры, пятясь, поплыли в дыму. И только тогда, через версты, дошло до дьякона это слово— „задержать“. Пропал: сейчас придут с ружьями и уведут... По пути к пяткам душа остановилась в ногах, ноги стали самостоятельным, логически мыслящим существом, в секунду все решили, потихоньку подняли дьякона—и под музыку, пятясь, как все, он пошел к двери. Тут набрал сколько мог санитарного воздуха—сломя голову вниз по ступеням, на улицу—и побежал.

Как в поезде столбы телеграфа, черные квадраты окон, крошечные, булавочные огоньки, самовар на столе. И вдруг где-то—косой, яркий свет, вырезанные из темноты головы, плечи, носы, толпа. Дальше было некуда, назад—нельзя. Дьякон втиснул себя в кирпичную верею у каких-то ворот, зажмурил глаза, ждал: сейчас придут.

И действительно: кто-то подошел и крикнул над самым ухом у дьякона:

— Выдали!

Кто выдал—все равно: надо бежать. Дьякон рванулся, открыл глаза.

Перед ним был Алешка-телеграфист. Вытянув руки, в пригоршнях крепко—как птичку, которая сейчас улетит—он держал кусок черного хлеба.

— Выдали,—крикнул он,—заместо прозодежды! Я—последний!

Длинно, как корова в сарае, дьякон выдохнул из себя все. И тотчас же понял, что хочется есть, с утра ничего не ел, дома в шкафу стоит каша, надо пойти домой. Но Алешка схватил за рукав:

— Гляди,—гляди—гляди! Да гляди же!

В косом свете из окна на ступенях стоял Сюсин в своей белой, мохнатой куртке и рядом с ним рябой Пузырев—тот самый, какой два года пропадал в немецком плену. Пузырев двумя пальцами, как в огурец вилкой, тыкал в Сюсина:

— Так ты говоришь—хлеба больше нету! А если так, то спрашивается: за что же я, например, пропал без вести? Граждане, бей его!

В белой косой полосе все накренилось, Сюсин упал, на него насели густым, шевелящимся роем, на секунду очень ясно—рука Сюсина с зажатым в ней ключом.

Здесь несколько зачеркнутых строк—или, может быть, дьякон, действительно, не помнил, как он очутился в своей комнате, инструментальной на „*р*“, как ел холодную кашу. Поевши, хотел прикрыть кастрюлю брошюрой Троцкого, но раздумал: знал, что сюда больше никогда не вернется, потому что финал рассказа должен быть трагический. И захватив для этого финала железный косарь, каким щепал для самовара лучину, дьякон вышел навстречу неизбежному.

Возле дома через забор свешивалась вниз сирень—сейчас она была черная, железная. Под сиренью на бревнах тесно сидели двое, белел в темноте чулок и голое колено, звучно, революционно целовались. От этого в дьяконе сразу как повернулся выключатель и осветил комнату, где (внутри дьякона)

с кем-то целовалась Марфа. Все остальное потухло, и дьякон помнил теперь только одно: скорее—туда, чтобы подстеречь его.

Там, на Блинной, одно окошко было освещено и на белой занавеске шевелилась тень—сейчас подняла к голове руки: должно быть, разделась и венком закладывает косу на голове—как тогда. Дьякона обожгло, будто выпил рюмку чистого спирта. На цыпочках стал подбираться к самому окну, чтоб поднять занавеску, но позади кто-то чихнул. Дьякон дрогнул, обернулся — и возле Марфиной калитки увидал его. Лица не разобрать—было видно только: поднят воротник и надвинута на глаза франтовская — белой тарелкой — шляпа-канотье.

В кармане—далеко, за сто верст—дьякон трясущимися пальцами нащупал косарь. Потом: нет, пусть залезет в сад, пусть! И прошел мимо освещенного окошка, мимо разоренного перелыгинского дома. Тут поглядел назад: шляпа-канотье заворачивала за угол, где в переулочке была садовая калитка. Окошко у Марфы потухло: значит...

Дьякон немного помедлил,—как, крутясь, всегда медлят взорваться бомбы у Льва Толстого. Вытащил косарь, обтер его зачем-то полой—и, перескочив через забор, сквозь мокрую, хлещущую сирень бомбой пролетел к скамейке, чтоб одним махом прикончить его и этот рассказ.

Мы уже давно обросли мозолями и не слышим, как убивают. Никто не слышал, как вскрикнул дьякон, замахнувшись косарем: все от 18 до 50 были заняты мирным революционным делом, — готовили к ужину котлеты из селедок, рагу из селедок, сладкое из селедок. Где-то, с зажатым в руке ключом, лежал белый Сюсин. Из окна пахло сиренью. Товарищ Папалаги допрашивал пятерых арестованных возле хлебной лавки и справлялся по телефону, чем кончилось дело на Блинной.

Но на Блинной не кончилось, бомба продолжала крутиться еще бешенней: на скамье дьякон никого не нашел—и ободранный, мокрый, полыхающий выскочил назад, на Блинную. На углу остановился, крутясь, и увидел: в лиловых майских чернилах белела, быстро плыла шляпа-канотье прямо на него.

Мгновенно погасла (в дьяконе) комната, посвященная марфизму, вспыхнула другая, где был Маркс, Стерлигов и прочие грозные меховые вещи. И меховой Стерлигов-Маркс послал канотье, чтобы задержать дьякона,—это осветилось в темноте совершенно ясно.

Дьякон несся по Блинной—огромный, и видел свои размахивающие руки. Но это был не он: сам он — крошечный, с булавочную головку, стоял посередине дороги и смотрел, как бежит этот, другой. И вдруг кольнуло в живот от страха: заметил, что тот — огромный — дьякон бежит, пятясь миньоном, как тогда милиционеры—ну да: вот теперь как раз мимо закопченных стен перелыгинского дома. Надо было остановиться, понять, что же это такое — дьякон нырнул в голую, без дверей, дыру в стене и, громко дыша, присел.

Густо пахло—как во всех пустых домах в тот год. Сверху в черный четыреугольник звезды равнодушно глядели вниз, на Россию, как иностранцы. Разом было слышно: частое дыханье, третий звон на кладбище, выстрелы. И, конечно, невозможно, чтобы один человек сразу же слышал все это и видел звезды, нюхал вонь. Стало быть, дьякон не один, а...

Плоские, плюхающие шаги за стеной. Медленно, сустав за суставом раздвигая себя, как складной аршин, дьякон приподнялся, выглянул через дырку в стене—и ахнул: этот, в канотье, раздвоился, двойной, в двух одинаковых канотье, присел на корточки и, зажигая спички, разглядывал следы на влажной земле. Больше терпеть было невозмонжо: дьякон закричал и, прыгая через какие-то балки, печи, кирпичи, кинулся сквозь перелыгинский дом. Слышно было, как сзади падал и в два голоса материл он, споткнулся—затих.

Пустыми переулками, набитыми черной ватой, дьякон добежал до кладбища,—оно начиналось сразу же за Блинной. Там он забился у ограды, где кладбище спускалось в лог и где оптом закапывали умиравших в тот год. Соленые, едучие капли со лба лезли в глаз—дьякон утерся и сел на плиту. Вылез красный, запыхавшийся месяц, и на плите дьякон увидел мраморную дощечку с золотыми буквами: „Доктор И. И. Феноменов. Прием от 10 до 2“. Дьякон очень хорошо помнил эту дощечку на дверях у доктора и самого его помнил,—как он почесывал затылок мизинцем перед тем как писать рецепт. Дьякон знал, что ему надо бы поговорить с доктором, и решил ждать, пока начнется прием у Феноменова.

Но дождаться не пришлось: из лога над оградой кладбища показался он, в белом канотье. И он размножился с ужасающей быстротой: он был теперь уж не раздвоенный, а распятеренный—в пяти канотье. Дьякон понял, что это—конец, деваться некуда, и заорал: „Сдаюсь! Сдаюсь“!

Когда привели пойманного, Папалаги повернул зеленый абажур так, чтобы осветить его, и спросил:

— Фамилия?

— Индикоплев—ответил дьякон.

— Ах, Ин-ди-ко-плев! Вот как! Происхождение, родители?

Где-то далеко, за сто верст—дьякон знал: нельзя, чтоб родитель был протопоп. Дьякон прикрыл ладонью голый нос и сквозь ладонь неуверенно сказал:

— Родителей не... не было.

Папалаги—как рога—наставил на него страшные черные усы:

— Довольно дурака валять! Сознавайтесь!

Дьякона прокололо. Значит, уже все известно—тогда все равно.

— Я сознаюсь,—сказал он.—Я перекрестился. Хотя я и отрекся, но перекрестился, я сознаюсь.

Папалаги обернулся к кому-то в угол:

— Что он—сумасшедшего разыграть хочет? Ладно, пусть попробует!—нажал кнопку.

И тогда вошел он—неясное, желатинное лицо, поднятый воротник, канотье. Дьякон побелел и забормотал, пятясь:

— Он самый... пять шляп—эти самые... Пожалуйста, не надо.

Папалаги поглядел на шляпу, сердито зашевелил усами. Потом показал на пойманного эсера, который притворялся сумасшедшим:

— Увести его в десятый — и сами ко мне, сейчас же!

Когда в кабинете выстроились все пятеро во франтовских канотье, Папалаги закричал:

— Что это еще за маскарад такой, что за чепуха? Кто это выдумал?

Один, который стоял ближе, вынул руки из карманов, снял канотье, повертел в руках.

— Это, видите ли, товарищ Папалаги... это согласно приказу, прозодежда, которую нам, значит, выдали для ношения.

— Сейчас чтобы снять! Ну, слыхали?

И пять прозодежд стопкой покорно легли на письменный стол.

Так кончился миф с прозодеждой. Очевидно, кончился и рассказ, потому что уже не осталось больше никаких иксов и, кроме того, порок уже наказан. Нравоучение же (всякий рассказ должен быть нравоучителен) совершенно ясно: не следует доверять служителям культа, даже когда они якобы раскаиваются.

■■■■■■■

ДУЭЛЬ В ОГОРОДЕ.

(Из романа „Помещички").

О. МИРТОВ.

„...да-да (мелкая дробь) — слыхали. И, можно сказать, сами видали: окно у Марфы Ивановны выходит как раз на огород. В четверг завез это ей молочка...".

Подробно любит рассказывать Ефрем об этой дуэли в огороде. Об Аничкове („зачинщике всему"), о княгине Зое и даже о Хлестакове (Иване Александровиче)—„тоже актер", его „точно будто тоже" видел Ефрем из окна. И каждый раз, возвращаясь из города, привозит Ефрем новый какой-нибудь варьянтик, от которого губы у девок антанинских как будто набрякают.

Катька и Дунька так гордятся осведомленностью своей в театральных делах—„игде Петька наш служит актером", что могли бы (и очень охотно) „прийтить на суд по делу о брюках в полосочку,"— если б до суда дошло...

Но городишки такие—дымящиеся от мороза — и прилегающие к ним антанины—деревни,—все они обладают свойством рассасывать события.

...рѣволюция? кто делал революцию?—я! И еще раз—я! Кто фиглярничал с красным флажком?!... Ну, может быть, не только я, „ежели так фактически разобрать"... но и не Ефрем и даже не Марфа Ивановна!

„...и только вот впустила, и опять же спать пошла. Чу-у-уть светало ешшо. Не разобрать на заборе, что там—ворона или что—сереет? Сел на табуретку—как раз против окошка,—маненько обождем. На рынок рано ешшо—пусть соберутся. Тут у ей—ложечки чайные, блюдцы... кто-кто, а уж Марфа Ивановна знает—Ефрем не возьмет (Ефрем мужик степенный—не сплетник и не вор)—нам без надобности это. Захочим, так заведем и серебряные. И только смотрю—что такое!?—не ворона вовсе, а человек. И не один, а трое. И так и ессь— Мурашкин - жердь. Его ли не узнать! Нет выше людины, как этот Мурашкин-коммунист. И Штолле тоже наш—его по усам узнал. И кто-й-тось ешшо—висит на заборе...".

Тянется режущий луч—из сети морщин и колдобин—через стекло, через сугробы—сквозь утреннюю мглу—взгляд острый мужицкий—привстал Ефрем и животом навалился на стол—

„...что-й-то им понадобилось там? Уж не убивство ли, думаю. И тут уж просветлело—вижу князенька наш—Миша..."

„...всякий знает Мишу. В коммунистах тоже теперь вместе с Петрухой. А што ему и остается, сердешному, как не в коммунисты записаться? Имение—200 десятин—шутка ли!—все отобрали. Землю—под хутора мужичкам (тоже усадебки настроим!), а добро повывезли—которое в совнархоз, а что в милицию, а то и так разгромили. Рояль был— цены ему не сложишь! Белый с серебром. Все внутренности из ево повытрясли по всем деревням... как их?—косточки эти?—белые, черные...".

Клавиши?

„Именно! Да-да! Свои-то косточки едва унесли. Теперь-то ничего. Нет-нет и барином когда и князем величают. На рынке повстречается—„князенька, яички! дешево отдам!"—„Я не князь, говорит, я—товарищ!" (смеется Ефрем)—так-то так, да только что—ни то, ни сё!"

Короче говоря, было дело так. Брал Миша у Аничкова брюки для Хлестакова и тоже для других, помельче которые—из водевилей, и каждый раз давал за это Аничкову фунт хлеба—за прокат.

„Спекулирую на собственных штанах,"—хвастался Аничков Ефрему (заезжал тот иногда выменять что, Аничков угощал чайком и, помимо всего прочего, словообмен происходил между ними отменный)—„тем и поддерживаю свое существование"— „да-да-да"—сочувствовал Ефрем.

И действительно, целая плеяда лиц стала появляться в этих его брюках—все эти хлестаковы— большие и маленькие, и даже, что было совсем уже свинством, по мнению Алеши, Миша и в публике стал в них появляться—за Улинькой тогда еще волочился—брюки в полосочку, как раз чтоб волочиться.

— Тебе бы самому их носить. Сам-то, ишь, в каких ходишь! Мать, должно, штопала ешшо?

— Приходится, что ж... Сносу нет им, проклятым!

И игнорируя комментарии насчет того, кто што-

пал, сбоку оглядывал свои старинные штаны (крашеные, просвечивает прежний цвет на шве—прекрасный был!), и тоже умалчивал о том, что любит, собственно, эти „домашние“, а не те—хлестаковские, но... Но, во-первых... и во-вторых... Васса больше всего в мужском туалете ценит именно брюки („чорт с ним и с хлебом, в сущности!“), но никак не мог разорвать паутину, которую соткал вокруг него Миша, только заикнется, как Миша папиросочку—

— Не хочешь ли? Возьми!

И Аничков, конечно, не герой. Известно, что значила тогда папироса—когда курили только махорку. Когда изящнейшие женщины, пушкинская Татьяна, например,—тоненькая, под глазами тень... или эта самая Зоя-изюминка, сводящая с ума весь городишко своим танго,—и такое тебе закрутит полено!—когда сама Синяя Птица витала в облаке махорки—„стелется махорка по всей Руси крестьянской!“...

Зоя, впрочем, предпочитала махорку.—„Нет ничего верней махорки“—уверяла Зоя (по мунштуку, которым Зоя пользовалась в данную минуту, можно было безошибочно сказать, кто был у ней любовником сейчас), ну, а Аничков предпочитал табак. И у Миши имелся запасец...

Ничего себе казался человечек Миша—не то что „эти господа“. А главное—княгиня Зоя. Какие она делала лепешки! Моментально сваляет в два счета—и сама на буржуечке — живо—перед самым спектаклем—горяченькие!—и летит с ними в театр к супругу своему, завернув лепешки в бобровый палантин.

И оба тотчас же к Алеше. Чтобы и ему поскорее горяченьких... Идеальные супруги!

Миша вовсе не был ревнив. Вначале—да. С увлечением разыгрывал Отелло...

— „...ревность у их—как горчичка. Бегат по лесу, бывало, друг за дружкой, плачут обои, руки ломают. Душил ее, не додушил. Повесился, было, на липке—сняла. Ну, а потом опять же целуются... Слаще прежняво“.

Видали?

„Как не видать! А на что грибы в лесу? Они то и разносят по всем волостям. Или черника—да-да-да. Но только это раньше было—этим занимались. А потом... что-й-то сейчас, как погляжу...“

Не понимает Ефрем—что „потом“.

Потом он долго думал—Миша—и ревность объявил гнуснейшим из пороков. И даже раньше стал искать союзников себе, прежде чем начала искать их Зоя. И как только Зое захотелось получить Алешу, он всячески старался ей это устроить. Можно было подумать, что сам он метит в любовники к Алеше, так он был извилист, тонок, чуток...

Вместо тяжести вечной любви, которую он вначале наваливал на хрупкую княгиню, он требует теперь самых легких вещей. Во-первых—откровенности. Он любопытен—Миша. А женщине, такой—переливающейся через край—и нетрудно быть откровенной...

По-иному, правда, и как бы выйдя в тираж, он все же остается утонченнейшим из любовников. Всегда снисходительней всех, всегда тоньше всех—всегда впроголодь немножко... Зоя ненавидит сытых. Заимный огонь, но достаточно яркий... Миша любит детали. Миша любит слова... И вторично заставляет ее на словах (о, слова!) вдвойне и вместе уже пережить пережитое...

И еще чего требовал Миша—это хозяйственных забот.

Княгиня обладает свойством вечного преображения. Делалась попеременно кухаркой, прачкой, судомойкой—оставаясь неизменно балериной. Хотя бы вот—лепешки!—Аничков просто поражался.—

— Как это вы? Сначала воду? Потом жарите?

Он с жадностью их пожирал. „...взаимное удовольствие получают—и лепешка и Алешка!“—щурилась княгиня и невольно шевелила губами, подбирая крошечки с его губ.

Потом он целовал ей пальцы. Грязненькие. Но с отточенными коготками. Она и в те годы, когда... у дымной буржуечки своей, хоть у помойного ведра, а умудрялась делать себе маникюры... Эх, Зоинька! (он целовал ей пальцы)—единственный друг! Дело не в папиросах, конечно. Чорт с ними и с папиросами!—единственно, к кому есть еще надежда вызвать ревность! (Алеша считал ревность благодатным чувством).

„...собака на сене“—думает Зоя о Вассе и с улыбочкой застенчивой (многообещающая улыбочка у Зои) произносит что-нибудь ласковое—добренькая Зоя!—в то время, как Алеша целовал ей пальцы.

Да, дружба с Аничковым была чистая. „Слишком чистая“—по мнению княгини. А все, что „слишком“ быстро рвется. И вообще—в этом убедилась Зоя—„в каждой самой утонченной дружбе есть росток влюбленной плоти“ (мудренькая Зоя!)—и вообще...

Оказалось, что нет ничего быстротечней, нежели дружба с балериной. Настал некогда день, и Аничков потребовал свои брюки. И лишил эгоистично всех хлестаковых элегантных брюк.

Мало того, он же еще и устроил скандал.

Князь предупредительно прислал их ему на дом. Было это в сумерки, он их не рассматривал, а утром, надевая,—чорт возьми!—не те!

Моментально побежал в театр на репетицию и там при закрытых дверях (щадил скромность дам, но дамы, как осы, облепили все щели)—как не те?! скандал!!

— ...так что ж я по-твоему—вор?!

— Не нервничай, Миша, не нервничай! Размер, мамочка, твой?

— Мой, но...

— Полосочка та?

— Вот именно как будто бы не та!

— Как будто бы? Из-за „как будто бы“ скандал?

— Но, например, протертый зад...

— При чем тут „например“! Ха-ха! Го-го! (Хор голосов только мужских)—

— Иметь претензию на цельный зад!!

— Нахальство беспримерное! Да сколько же народу их перетаскало! Один Хлестаков чего сто́ит!

— Не под стеклянным колпаком висели, а на живом теле!

— Га-га-га...

— Я интеллигентный человек... и чтобы я штаны... Какие доказательства?!

— Никаких доказательств!—чувствую!

— Га-а? „чувствую"?—запах не твой?!

— А папиросы тоже, небось, чувствовал?! Помещички!

— Свора!! Коммунистики продуктовые! Все вы рука руку моете!

...жжж-ж,—ветром сдуло ос—шарахнулись от щелей дамы—„убьют его! убьют!" Но Кедрин трехэтажным—просто. Не подлежит, по крайней мере, высшей мере.

Миша повис на спинке стула—смякли руки, ноги. А Зоя тут...

(за перегородочкою смех: Улинькин носик застрял, было, в щель. А тут еще эта „вобла"—„такое падение нравов! фи-фи!—герои! Боролись за идею! Бедный князь Вергежский".—„Молчите!"—шипит Васса)—

а Зоя, княгиня Вергежская, помалкивает что-то. Стоит, головку прислонив к досточкам, улыбочка на жемчугах; манера такая у ней—откинув головку, чуть-чуть улыбаться—„бедненький Алеша, дурачок... чует что-то, а не знает что".

Но точно знает Зоя. Действительно, полосочка не та.

Был подходящий случай—выгодная мена—Кронидушка уверил—„Аничков интеллигентный человек—уже полосочка, шире полосочка—не все ли равно!"—щурится княгиня Зоя—„и правда же, Алешенька!—без брюк ты еще лучше,"—добренькая Зоя.

За то уж Васса—ведьма. Злится так... так злится. Бледнеет вся, краснеет—стыдно за Алешу, досадно за Алешу—„такая мелочность! поднять такой скандал!"

Васса ждет, что́ скажет Петр. Но Петр молчит...

...стелется махорка по всей Руси крестьянской... Сереют лица волчьи—разинутые рты и мутная сталь глаз—гудят над ним—не разобрать слов, и ругань матерная...

Сидит в самой гуще—не у Ефрема ли в избе?—голову подпер руками...

(...ах, аппаратик бы такой!—направила бы Васса на волосы эти—„что думаешь? какие мысли?"—мужицкие, жирные, с соломенным отливом и запахом соломки—свежие утреннички влажные... Ах, единственный способ—узнать мысли затаенные коммуниста убежденного—это... это... То было на первых порах, коммунистов тогда было мало, естественно, что Васса...)

Рассвирепел „помещичек"—что-то там еще сказали ему—Васса не расслышала—

— ...да! запах не мой! Оставьте мне хоть запах собственный!—и швырнул брюки в лицо—Улинька видела—Кедрину, Зоя ясно видела, что—Мише.

— Какой нахал! Таких нахалов надо...

— Стой!!

Только стал между ними — между Алешей и Пашкой... Зыбь пробежала здесь—по грудям, по плечам—„хряпнуло, кажись"—в груди томление у Вассы и—

„...разве Христос не был коммунистом? и... дада!"—перегородочке эта бледность, этот трепет и приплюснутый нос (через двадцать лет—это ведьма—когда подбородочек встретится с носом!—а теперь Васса, женственная Васса—с рыжинкой и карминкой...)—в щель лучится глаз—огромный—чей? кому?—никто не разбирает—до того ли!

А в общей сложности—пропала репетиция. Истерика у Миши. Все возмутились страшно.

— „Запах не мой?" „Запах" теперь должен быть у всех одинаковый—равный!—„робеспьерик" перебегал от одних к другим,—„белый дух твой в порошок сотрем"...

Вергежский вызвал Аничкова на дуэль.

Прислал секундантов—по всем правилам—Штолле и Володю Мурашкина.

Муравейник заволновался, зарябило в глазах. В затишье после всемирной войны это обещало быть интересным.

На дне души у Вассы было желание дуэли, но Васса даже не знала об этом. Зачем ей было желать дуэли? Боже сохрани! Наоборот! Единственно свой человек—это Алеша. Васса плакала даже.

Лидия Павловна, „вобла", актриса премудрая, тоже была против дуэли (окончила высшие курсы, читала Карлейля и Канта), но у ней подозрительно горели уши.

Улинька шмыгала всюду, по всем крохотным домишкам с отвратительной вонью на чистеньких парадных лестницах — от Улиньки, наверное, узнала и милиция. Но милиционер Яша (знакомый, в галифе) открыто потирал руки — „два интеллигентика? актеры? — пусть их укокошат друг друга!"

И только княгиня Вергежская не хотела дуэли, решительно не хотела. Бегала даже зачем-то к Алеше, как выяснилось после...

Аничков встретил секундантов презрительной усмешкой. Нагло заложил руки в карман этих своих элегантных брюк (их он не снимал теперь нарочно)—но вдруг не то ему вспомнился Пушкин, возлюбленный его, — ария Ленского из Евгения, — не то просто захотелось вылезти из ямы — „жизнь стала ямой" — говорил он Вассе, — неизвестно почему, но только он сразу же переменил тон (Штолле объяснил это испугом) — стал изысканно, необычайно вежлив, предложил сесть „этим господам"—...

Секунданты осмотрели обстановку. Володя — жердь, потрогал вазы, которые стояли на рояли... Штолле предложил Алеше выбрать оружие. Тот предоставил выбор противнику — ему, мол, все равно. Это был жест, и Володя Мурашкин отметил его — „пригодится".

В сущности, не из чего было выбирать. Ни у кого не было никаких оружий. Была, правда, у Аничкова пара дуэльных пистолетов — лепажи — старинные — тоже на рынке приобрел — „удивительная вещь"! — потеплел даже весь, показывая их Штолле и Володе.

Шел как-то по рынку (едва вытягивал тело из мужицких тел), зубы сжал, чтоб не ругаться — дрожал за свой десяток яиц, который выменял на шапку, — и только мысленно — „свол..."—и вдруг—на бархате в футляре, открытом среди хлама: сковородки, примусы, кастрюльки, лом, старые куклы безрукие — и тут же лежат эти — дуло против дула — лермонтовские пистолеты. Под дождиком... Не решился спросить даже сколько (сколько может сто́ить такая драгоценность!) — стоял заворожен-

ный — романтикой веяло от них — страстью нежной: сам Лермонтов, может быть, или сам Александр Серг... след руки его на рукоятке... Не чувствовал уже толчков в бока и в спину — легкой тенью поднялся над толпой. Решился, наконец, спросить — так, между прочим, и вдруг! — десяток яиц! *всего десяток яиц?!*

Чуть не плакал от умиления и злобы, неся домой лепажи (надменная линия носа — „интеллигентская линия"! — этого не объяснишь).

— ...жаль только, что нет пуль!

— Г...о, — сказал Володя Мурашкин.

Алеша захлопнул футляр.

Штолле обещал получить из партии два хороших браунинга.

Очень быстро условились о месте и времени. Алеше опять, было, мелькнуло что-то — „и будешь дева красоты..." — полянка в лесу за городом в сугробах: не то могила возлюбленного Пушкина, не то собственная — в мягкое утро туманное, когда смякнет мороз (ах, Васса, Васса... ты...).

Но Володя Мурашкин, рожденный для того, чтоб рассеивать иллюзии, объявил, что ему наплевать на все эти буржуйские затеи, что тюпаться за три версты не сто́ит: и с тем же успехом можно пристрелить друг друга в любом огороде — надо только раньше встать.

Алеша не спорил. Но заспорил Штолле. Он был оскорблен в своих романтических чувствах — „нельзя же делать фарс из драмы!" „существуют традиции"... „есть известный аромат в дуэли!"

Но малейшее прикосновение Штолле к возлюбленному Пушкину оскорбляло Алешу вдвойне, он поддержал Мурашкина и решили стреляться в огороде.

Спать лег Алеша с „паршивым настроением". Вставать на рассвете — будьте любезны! — переть по сугробам в какой-то огород — чорт знает до чего дошло! — драться на дуэли из-за собственных брюк! (сволочи!)...

Но „сволочней" всего был холод. „Хоть бы согреться перед смертью, что ли!" — и когда начал засыпать, гипнотизируясь портретом Вассы, прибежала Зоя (Зоинька!? княгиня!?) — очень взволнованная и очень-очень горячая.

На рассвете Аничков не явился в огород. Давно он так крепко и тепло не спал.

А те там замерзли, видно... „все веселей притаптывали снег. Особенно Мурашкин. Сердчишко-то маленькое у человека",—рассказывал потом Ефрем— Алеше же и рассказывал, — „как на такую жердь кровь разогнать по всем пунктам? — вот и притаптывает снег", — *и хохотали оба. Давно он так не* смеялся — Алеша. Тогда уж полностью назрели настроения — было над чем посмеяться. — „Площадку притаптывали? Ну!? видел? сам? ха-ха-ха... хэ-хэ-хэ...

„...им и невдомек, что ктой-то-сь смотрит из окошка! И что-й то там у их лежало — не пойму! — завернутой будто — на сугробе?" — „Да браунинги ж, ну!" — кричал Алеша и валился на кровать, точно убитый этими самыми браунингами, — „о-хо-хох!" — „Уте то более всего и привело в сумление!" — „Ты думал опять революция?! о-хо-хох... Князя вешают на заборе?!"

Штолле все спрашивал — „идет?" „идет?" — усы тоже, ведь, не греют! А Мурашкин посмотрит через забор — „нет, не идет!" — и уж они тебя тут — прямо так через крыши..."

— Без всяких радио?! — подхватывал Алеша. — Ничего не слышал! Я спал... да, я спал! А Миша? *В сафьяновых сапожках? Был спокоен Миша?...*

„Никогда я не был так спокоен, как в это утро перед лицом смерти!" — так рассказывал потом сам Миша. — „Кой-какие предсмертные мысли были, конечно..." (а вдруг да этот наглец не склонится на доводы Зои!)

— Ох, Ефремушка, хо-хо! Если б ты знал, какая между нами встречается гниль! Двадцать раз родитесь, прежде чем сравняетесь с нами.

О том, что разъяренный Мурашкин вызвался пойти за этим наглецом, Ефрем, конечно, не знал, хотя и видел какие-то переговоры и, опять-таки, не слышал, с каким достоинством Миша ответил Мурашкину:

— Прежде так не делалось и в цивилизованных странах...

— То, что делалось прежде — это одно, и — то, что принято у буржуазии — это тоже одно... (Володя брызгался слюной, когда бесился).

Но Миша решительно заявил, что он доволен „сатисфакцией" — противник, очевидно, струсил, а к тому же у него повысилась температура (у Миши), Миша пощупал себе пульс, словом он идет домой.

Пошли и секунданты. Не оставаться ж им было в огороде! Но Ефрем мог заключить — по поднятому кулаку, что Мурашкин поклялся отомстить Алешке.

— Да, Аничков будет помнить!

А этот явился на репетицию как ни в чем не бывало.

И когда разъяренный Володя подошел к нему с требованьем объяснений, он сознался простосердечно, что ему не хотелось умирать. И когда озадаченный Володя высказал предположение, что он просто-напросто струсил, — Аничков поспешил с этим согласиться. И все слышали это.

Вобла улыбалась — „рыцари, нечего сказать!" Васса побледнела. И не успел взбешенный Штолле крикнуть — „это уже издевательство над секундантами", —

не успел Пашка перекрыться новым слоем ревности (Кедрину страшно понравился этот открытый Алешкин цинизм), не успел Пашка назвать это „штучками помещичков" —

и бледненькая Васса успела только шморгнуть *задумчиво носом (не нравился ей какой-то теплый* тон в окраске лица Зои и такой же точно тон в окраске губ Алеши) —

никто ничего не успел как следует понять, как Миша бросился на грудь к Алеше и назвал его „кристалльным".

Тут выпорхнула Зоя — раз, два, три — хлопушкой муху! — и мягкотелый Алеша („сто́ит лишь ласково руку положить на мою руку") — хотя и поспешил отодрать от груди своей Мишу, но почувствовал вдруг до того себя виноватым, что даже хотел извиниться публично. Был такой порыв интеллигентский. Но ах, как он потом был рад!

точно сковало его что-то. Вообще говоря с некоторых пор, с керенских времен, можно сказать, Аничков стал ненавидеть интеллигентские порывы.

...а в общем, все размякли, и Аничков попал в товарищеский круг.

Три дня благоухала идиллия.

Васса так ревновала... Не отпускала от себя ни на шаг. И какие были разговоры! какой блеск! Какие рассыпались жемчужины! Тут уж он показал себя! — чтó такое он и чтó такое плотник. Даже стихи сочинялись. И Вассе нравились стихи. Золотинки сыпались, сыпались, сыпались... Правда, не более того. Но он и не спешил. Зачем? Идиллия всегда кажется вечной. Кроме того, — мы умеем смаковать минуту... И еще „кроме того" — княгиня неутомимо подстерегала за углом... (добренькая Зоя, самоотверженная Зоя!)

Она промачивала ножки и вся покрывалась светло-лиловыми подтеками — на щеках овальных и на изящных бедрах, — чувствовалась игра в крови — не то синяки, не то постельная примятость... А в глазах ее коровьих, благодушных, нет-нет вдруг и блеснет блуждающий огонек — в ресницах...

В общем было — ничего...

Но не прошло и недели, как Миша потребовал брюки. В тоне было нечто такое...

Как?! Разве брюки теперь у нас общие?

Аничков сухо отказал. Противно даже любовницу иметь общую, не то что брюки. Противен стал ему Миша с некоторых пор. Эта липкая его манера налезать на собеседника. „Все понимаю и все принимаю"... Физическое отвращение вдруг возымел Аничков к Мише — „паршивый в общем человечек". Противнее даже, чем „эти господа".

— Не дам штанов и больше ничего.

С этого момента фарс начал перегибать в трагедию.

„Такое отсутствие товарищеских чувств!"

В воздухе повисла резолюция — не ясно, правда, оформленная —

„брюки, которые подходят большинству, должны стать коллективной благодатью" — что-то в этом роде.

— А-а, так?!

Аничков пошел и обменял свои старые брюки на вазы — чтобы укрепиться на позициях —

чтобы отрезать себе путь к отступлению —

и, наконец, чтобы вазы подарить Вассе...

Но вот, действительно, на что ей треснутые вазы!?

И потом вообще... как только отстранилась Зоя, а та неизменно в конфликтах с любовниками принимала сторону мужа, — отстранилась и Васса. Васса, кроме того, опасалась, как бы „эти господа" не напакостили ей чего-нибудь из-за Алеши. „А вдруг бездарной вобле дадут играть Зениду!"

— Безумие! — успокоивал Алеша.

— Но почему бы вам и в самом деле не одолжить товарищу?

— А-а, так?! — сказал Алеша, — один против всех! — тем лучше!

Васса возмутилась. Все возмутились. И брюки, как фантом, повисли в воздухе — в четвертом измерении — сквозь твердые предметы просвечивает призрак — плакат, воображаемый, дразнящий страсти: брюки в полосочку — точная копия тех, которые...

которые по странной иронии судьбы очутились вдруг на самом Белинском...

„Милые призраки"... „Милые призраки" — афишами обклеился весь городишко — „Милые призраки" — *идете?*

„... и заглавие-то, ведь, какое!"

„... не умели создать жизнь, создадим миражи".

Петр проникался Некрасовым. Весь день и всю ночь, как пришел из Антанина, не выпускал книжки из рук.

„... радость интонаций... радость интонаций... тайны преображения постичь".

Кундасова, Анна Александровна, стояла в темноте в передней, прислонившись лбом к его дверям, и тоже проникалась.

Петр не чувствовал присутствия публики (Аничков уж двадцать раз распахнул бы дверь, чтоб ударить ее по носу).

Кундасова тихонько, как мышь, перебегала к своей двери, когда Петр делал паузы.

Заблаговременно, только начнет вечереть, из разных концов городишки текут ручьи — фигурки темные — в уличках между сугробами —

с пропеллера интересно наблюдать, как черным пологом задергивает сцену — вон какая широта! — только что дымился городишко в отсветах морозных, — ищи теперь его на потускневших снегах — ни огней, ни звука. И затерялся б вовсе в пеленах России, если б не оазис, если б не театр! —

вон точечка в ямке — брызга брильянта...

Но издали, ведь, все брильянт! — а спустись-ка ниже — будьте любезны! — просто фонарь.

Вьется снег вокруг, сеет бархатную тень — на пальтушки, на шинели — прут, лезут спины друг на друга — идут, идут! — все, что не спит и что живет — все здесь — это театр.

Тулуп сыромятный, новый, дорогой — засморканны в подоле — „Петруха подарил билет".

Театр... театр... — Будьте любезны, граждане, не прите!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

КАЗНЬ МАТЮШЕНКО

МАТРОСА-АДМИРАЛА.

ДМ. ПЕТРОВСКИЙ.

(Письмо Бредихина в Бухарест, перехваченное полицией.)

—„*Друг За́мфир А́рборе!*
Пишу про смерть:
Вчера здесь на дворе
Наш умер брат.
Так нужно помирать,
Геройством радуя...
Тебе—прощай!—привет!..

В углу и на полу
Лежат рубашки, тельники, кальсоны,
Коробка с табаком..
Помещение—закон—
Смеется на стволах
Солдатов, что на казнь
Приведены..
Весь этот сброд спасен им.

Два дня—после суда—
Он мог курить,
Чтоб мог не спать...
Рассвет. Сейчас начнут вводить войска.
Уж с вечера во двор
Ввезли и гроб и столб.
А тот, кому готовят это,
Ходит, курит, думает.—
Про что?..

Друг За́мфир А́рборе!
Такие есть часы,
Которыми кричит земля сто лет.
Казнь в шесть.
За полчаса пришли ко мне:
Он ждет—прощаться.
Я должен молчать
И—лишь смотреть.

Толпа разных калибров палачей
И—в их кругу—стоит
Он,
Опершись плечом к стене,
И смотрит,
Как они будут смотреть сейчас на смерть, —
Где человек?..

Я плакал, как дитя,
Он дал мне крест и вещи:
Медальон.
Хотел спросить—кому?
Заткнули рот и вытолкнули вон,
А он стоял один:
Уже с о в с е м один...

Я казнь не видел,
Говорили так:—

Пока читали приговор,
Ходил взад и вперед пред фронтом.
Кончили—сказал: „прощайте,
Товарищи!..“
И стал на стол.

Акимов [1]) закричал.
Он отвечал:—„Чего орешь!“
И на столе сказал:
—„Вешайте, трусы!..“

Профессионал палач
Набросил петлю и толкнул:
Стол вылетел.
Забили в барабан.
Минут пятнадцать он висел.
Спустили.

Снимали кандалы:
Железо было жалко зарыть
В могилу:
Выкрутили ноги,
Чтоб не расковывать,
И бросили в шинели в гроб.

Последний раз он написал:
—„Сегодня приговор будет исполнен.
Умираю с гордостью,
Как подобает революционеру.
Передай последний мой привет
И А́рборе...“

Всецело жизнь отдал...
Никто не может знать,
Что испытал я в эти дни,
Друг За́мфир А́рборе.

Не могу кушать,
Не могу уснуть:
Я вижу тень его перед собой,—
Как мы прощались,
Как висит.
Как ему ноги крутят,
И—как видел его веселым,
Мимо проходя...

А палачи,—
Кто вешали,—
В халатах, отвернуты воротники
И лица загримированы
— Не видно...

---

[1]) Новый командир „Потемкина“.

Б Ы Т

СИДЕЛКА.

Л. ДОБЫЧИН.

Под деревьями лежали листья.

Таяла луна.

Маленькие толпы с флагами спускались к главной улице. На лугах за речкой блестел лед, шныряли черные фигурки на коньках.

— Здорово,—трогал шапку Мухин. Улыбаясь бежал вниз. Под коленями болело от футбола.

Толкались перед Дворцом Труда. Товарищ Окунь, культработница, стояла на балконе со своим секретарем Володькой Граковым.

— Вольдемар — мое неравнодушие, — говорила Катя Башмакова, заглядывая Мухину в глаза.

Наконец, отправились. Играла музыка. Блестело золото на кумаче. Над белыми домами канцелярий небо было синее.

На площади Жертв выстроились. Здесь были похоронены капустинская бабушка и, отдельно, товарищ Гусев.

Закрытое холстом, торчало что-то тощее.

— Вдруг там скелет, — заигрывала с соседями товарищ Окунь.

Сдернули холстину, приспустились флаги, заиграл оркестр.

У памятника ерзали, подсаживали взлезавших на трибуну.

— Товарищ Гусев подошел вплотную к разрешению стоявших перед партией задач.

Сзади было кладбище, справа исправдом, впереди—казармы.

Под плакатом „Здоровье—трудящимся“ краснощекая в косынке, прищуриваясь, высовывала язык и облизывала губы.

Мухин вышел из рядов. Караулил. На него заглядывались: тоненький, штанишки с отворотами, над туфлями—зеленые носки.

Разбредались. Гусевский отец, в пальто боченком, с поясом и меховым воротником, взял Мухина за пуговицу.

— Каково произведение? — протянул он руку к обелиску с головой товарища Гусева на острее.

Сиделка уходила.

— Мне необходимо, — извинился Мухин. — Пардон.

Дорогу перерезали: хоронили исключенную за неустойчивость самоубийцу Сёмкину.

Ее приятельница, кандидатка Грушина, зареванная, выглядывала из ворот.

Встретился Володька Граков и роптал на Окуниху.

— Дисциплинированная, — похвалил растратчик Мишка-Доброхим, — в процессии не участвует.

Сиделка скрылась. За лугами бежал дым и делил полоску леса на две — переднюю и заднюю.

Запихнув руки в карманы, Мишка, сытенький, посвистывал.

— Выпустили! — поздравил Мухин.

Спустились вниз. Здоровались с встречавшимися. Останавливались у афиш.

— Иду домой, — простился Мишка. — Обедать.

Мухин постоял у лавки „Гигиена“. На крае зеркальца блестела радуга. Кругом была разложена „Москвичка“ — мыло, пудра и одеколон: кутается в горностай, ночь синяя, снежинки...

Захотелось чего-нибудь хорошего — уехать, быть кинематографическим актером или летчиком.

В столовой засиделся за газетой. Открывающийся памятник — образец монументального искусства...

Спускалось солнце. Церкви розовелись. Шаги стучали по замерзшей глине.

В комнатке темнело. Белелось расписание: физкультура, политграмота...

В гостиной у хозяйки пела Катя Башмакова. Позванивала на гитаре.

Пришел Мишка. Прислушался. Состроил хитрое лицо.

— Нет, — покачал Мухин головой печально, — кому я нравлюсь, мне не нравятся. А чего хотел бы, того нет.

— Это верно, — согласился Мишка.

Отправились. Шли под-руку. Задумчивые, напевали:

— Чистим, чистим,
Чистим, чистим,
Чистим, гражданин.

Спустились к речке: тихо, белая полоска от звезды. Зашли в купальню и жалели, что не захватили семечек, а то бы здесь можно посидеть.

Потолкались у кинематографа: граф разговаривает с дамой. Поспешили взять билет.

За прилавком дремала хохлушка в коричневом галстуке. Подбодрили ее: — Веселей!

Стаканы, чтобы чего-нибудь не подцепить, ополоснули пивом,

— Я сегодня чуть не познакомился с сиделкой, — сказал Мухин.

„ДОЛГО ЛИ НАМ ТЕРПЕТЬ“.

МИХ. КОЗЫРЕВ.

(Письмо селькора Вани Нарядного из деревни Горбы).

Товарищи уважаемая редакция!

Настоящим прошу поместить и печатать нижеуказанное письмо в отношении личностей, которые являются прослойками по классовому характеру и интересу, и первая прослойка—Антип Зубарев, наш председатель Горбовского сельсовета, с заголовкой „Долго ли нам терпеть“. Много еще совласти рабочих и крестьян приходится бороться со своими всевозможными внутренними врагами и подрывателями, постепенно обволакивая беднейшее крестьянство, как и я, который всего лишился, и вот выбран общим собранием граждан в сельские корреспонденты, и при этом пишу, какая в моей жизни вышла биография и мой портрет.

А вышла эта биография и портрет к прошлому покрову, когда умерла моя жена Иринья, двадцати пяти годов, и на руках осталось двое младенцев мужеского и женского пола, один пяти годов, другой трех годов— и оба—крестьяне и бедняки той же деревни Горбов и будущие граждане и комсомольцы пролетарской страны. И вот я, имевши лошадь и корову, всего лишился через эксплоатацию контрреволюции, которая незаметно подтачивает нашу трудовую жизнь и пользуется при советской власти полным преимуществом, как истинные кровопийцы и вожди. Это я говорю в отношении женского элемента, рельеф жизни каковых пауков и хищников будет изображен с полной активностью трудового народа, как пострадавшего.

И когда случилась подобная биография, что умерла жена, я и пошел на тот конец к Марфе—вдове, у которой дочка на выданьи, Дунькой зовут, и самым хорошим намерением говорю:

— Хочу я на твоей дочке жениться.

А почему мне не жениться, когда рук не хватает, и ребятишки малые без призору? И Дунька тоже:

— Отчего же, говорит, мне за тебя не пойти? Небось, у тебя рыло не на сторону сворочено. Другие, говорит, и не за таких неурядных замуж выходят.

Так мы и сговорились по обоюдному согласию, и вот устроил я свадьбу, и было на эту свадьбу мною куплено сахару десять фунтов (еще приказчик кооперативный Яшка Хромой меня на три четверти обвешал с этими новыми гирями), да дрожжей полфунта, да колбасы кругов пять, да теленка зарезал, да муки пуда три ушло, да горьковки цельная четвертная, не считая портретов товарища Рыкова и других вождей, которые насильно вместе с горьковкой получил в кооперативе на два рубля и тридцать пять копеек (они у меня и теперь под образами висят), и на свадьбу была позвана вся моя родня и вся ее, Дунькина родня, всего восемнадцать человек, из которых моих только пятеро, а остальные все Дунькины.

И был на свадьбе Яшка Хромой, кооперативный приказчик и указанный выше эксплоататор и прослойка Антип Зубарев, наш председатель Горбовского сельсовета, и Дунькин брат Митька, комсомольщик, и на свадьбе гуляли все и пили и ели на мои денежки по советскому закону без попов, потому поп (вот кого следовало прохватить) десять рублей за венчанье спросил; ты, говорит, во второй раз женишься (почему это советская власть не притягивает этих пауков по религиозному дурману.)

И гуляли три дня и три ночи, так что и самогонки под конец пришлось докупить два ведра у нашего милицейского Ильи Трешкина, он сам подтвердит, и его пришлось на свадьбу позвать, чтобы этому самогону не устроил отборку. Председатель Антип Зубарев даже речь говорил, что приветствуем красную свадьбу и красных молодых (еще бы не приветствовать, когда такое угощение), и живите, говорит, и вперед, как красные граждане без религиозного опиума, который есть отрава для республики крестьян и рабочих, и сразу два стакана горьковки выпил за советскую власть. И потом еще плясали и окно разбили: тот же Антип Митькиной, комсомольщика, головой окно то разбил, когда означенный Митька вздумал над святыми иконами созоровать и самое богородицу, заступницу, вином угощал и разбил ей стекло, а это очень обидно, хотя и сочувствую, и даже Антип Зубарев обиделся. И было такое веселье, что потрачено рублей тридцать всего, не считая чего по хозяйству, и что чужая баба стряпала. И вот, когда кончилось, я говорю Дуньке, жене моей, значит, по советскому закону:

— Иди, говорю, привыкай к хозяйству, корову напой, да детишек прибрала бы, чай, голодные...

А она обнаружила в отношении меня, как беднейшего крестьянина, самый злобный бюрократизм и волокиту:

— Я, говорит, тебе не работница, а революционная жена.

— Как же ты, говорю, не хочешь обязанности справлять, что должна по закону?

— Не хочу, и ты меня не заставишь.

Я ей слово, она мне два, я к ней с кулаками, она на меня, ну я и ушел от греха, чтобы не побить, как слабое существо и в женском союзе зарегистрировано. А прихожу—ее совсем нет и ребятишки плачут, не накормлены. Я к Марфе—маткето ейной, а она говорит:

— Мы ноне че, Ваня, над нашими дочками не властны, только она к тебе больше жить не пойдет, как есть ты старый режим и в отношении женщины держишься кулацкого элемента. Подает она на тебя разводную.

— А кто, говорю, окроме всего прочего на свадьбу тридцать рублей истратил, а ваши гости пили и ели и стекла били?

— Твоя воля гулять, твоя—и гостей звать!

— Я, говорю, в суд подам.

— Суд, говорит, судом, а в моем дому себя не проявляй.

И еще Митька-комсомольщик меня под руки вы-

вел, и я пошел с такой обидой к судье за тридцать верст и говорю:

— Нельзя ли, товарищ гражданин, избавиться от такой несправедливости?

— Она,—говорит судья то,—жить не хочет и мы ничего ее заставить не можем.

— Я, говорю, не в отношении того, а желательно бы с нее траченые на свадьбу деньги стребовать, как убыток и ее гостей было тринадцать человек.

А судье только смешно, и он говорит:

— Не стоит на заявление тратиться!

А на какие мне теперь денежки свадьбу справлять? Это я к тому говорю, что хочу жить в крестьянском трудовом положении, и что у меня новая невеста сосватана, Манька, куда, пожалуй, эта Манька-то Дуньки—эксплоататора моего лучше. Дунька — та белобрысая и без всякой физиологии, словно шкилет сушеный, а Манька высокая, да бокастая и щеки, что те кирпич. Я даже радуюсь, что у меня такая жена и вдобавок сама пошла по взаимной симпатии, как я одинокий, и она пожалела.

Я и продал корову мяснику Никите и с такой радости даже красного вина купил и всего прочего на предмет свадьбы честного гражданина.

Пять ден, почитай, пили-ели на мои собственные денежки, а как я очухался, то начал к Маньке приставать по заповедям, а она рыло в сторону.

— Отстань, курносый!

— Когда, говорю, я тебе на платье купил и платок—не курносый был, а теперь курносый стал?

Как же отвечает этот вредный элемент на такое мое слово:

— Некогда мне с тобой разговаривать!

И как была в моем новом платье и в платке, так и ушла. Я ее жду-пожду и иду к ейным родителям. Те на меня смотрят, как будто и на свадьбе не гуляли:

— Эва, говорят, вспомнил! Да уж она давно с тобой развелась и за кооперативного приказчика Яшку Хромого замуж вышла.

— Ах в рот те сто колов! Да как же это она?

— Ты же сам, говорят, в неимении препятствия расписался.

Чего в пьяном виде не подсунут—может и вправду расписался? Только вот ведь какая эксплоатация получилась, что она за мой счет с кооперативным Яшкой обвенчалась.

Я уж и в суд не ходил, чтобы не смеялись над моей обидой. А тут еще Агафья-вдова, в роде меня, и к тому без детей:

— Давай, говорит, Ваня, я за тебя замуж пойду...

Я и не смотрю, что она кривая и рябины на лице, будто птицами исклеванная, была бы баба, как первая необходимость при бедняцком хозяйстве.

— Только, говорю, мне свадьбу править не с чего.

Она тут и затосковала.

— Неужто, говорит, я хуже других, что мне и не погулять. Устрой хоть бы на десять человек, да подари мне шерстяной платок и пальто с барашковым воротником, никак не справлю... А то, говорит, я и записываться не буду.

Я так и рассудил, что у нее, у Агафьи, и лошадь своя есть и корова, все значит мне отойдет, в общий дом, по закону, и продал лошадь и записался с кривой Агафьей. Справили свадьбу честь-честью, я и говорю:

— Где ж мы теперь полное хозяйство заведем— в моей избе, аль в твоей?

А она говорит:

— И ни там, ни тут, а хочу жить в полной раздельности, как в городу, а ты ко мне по праздникам с подарками приходить будешь.

Вот ведь куда загнула, какую хитросплетенность и козни, как от международных пауков.

— Что ж это ты, говорю, какую политику развела? Чего ж это ты, говорю, меня разорила, что из тебя безлошадным остался? Отдай, говорю, мне пальто и платок, на свои деньги покупал...

— Ишь ты, говорит, даром, что ли удовольствие получил? Да я, говорит, и вперед согласна.

Вот ведь какая оказалась, и кто знал, главное, что баба-то совсем из себя кривая... А дело идет к весне, и мне сеять надо и нет у меня ни на обсев, ни лошади, как есть беднейший мужик. И сунулся я было к четвертой бабе, да только та меня совсем острамила:

— Я, говорит, за такого голыша в замуж ходить не намерена.

И остался я с двумя детьми и без жены, и без лошади, и без коровы, из-за всей такой биографии, как описано. И вот живу я и тоскую, коли жрать нечего, а тут приходит председатель Антип Зубарев и приносит повестку на суд. Я не пойму с чего это, и все-таки прихожу, как полагается, и вижу там такую картину общего положения, что стоят все три бабы и все с большими пузами. А судья сам смеется и говорит:

— Мужичонка-то ты, говорит, никудышный, в чем душа, а целый гарем развел.

— Это, говорю, не гарем, гражданин судья, а ярем, и всю ему правду как есть рассказал в полном порядке.

— Все равно, говорит, как свидетели есть, должен ты им выдать на пропитание.

А какое тут пропитание, когда самому кормиться нечем из-за этих из-за свадеб? Я и говорю:

— Нету тут моей вины, и отказываюсь. Первая-то, Дунька-то, еще туда-сюда, а Марья меня не допускала, и она мужняя жена. А уж что касаемо Агафьи, прямо скажу, что она век была бесплодная, и хоть у нее видимый живот, а она не разродится.

Она кричит:

— Разрожусь, а с тебя с охальника по закону стребую!

И судья кажет удостоверение, что на четвертом месяце, а я против:

— Она, говорю, гражданин судья, небось воды надулась, никто у ней допреж такой оказии не замечал.

Ну, а разве в суде есть к нашему брату мужику полное внимание? Присудили с меня на каждую семь рублей, а Яшка Хромой даже пригрозил:

— Не будешь платить, я твою избу продам, а деньги стребую...

И я понимаю, что стребует, если у него нету своей избы, а коли не стребует, и Манька с ним разведется. Я уж на него ничего и не говорю, как

тут все происки означенных зараз и вождей контрреволюции, какова есть женщина советской власти. А откуда мне взять двадцать целковых, если с детьми и безлошадный, и неженатый! И мужики только, смеются над таким моим положением и говорят:

— Не хочешь ли, Ванюшка, еще свадьбу попировать—у меня дочка на выданьи.

Ну, а я не хочу, мне и того довольно, а только смотрю, откуда бы деньги заработать, и говорю председателю, который и есть Антип Зубарев и у меня на свадьбе был и по Дуньке мой родственник:

— Дал бы ты, говорю, мне какую службу для пропитания.

А он меня, спасибо, надоумил:

— Есть, говорит, в Лыкове (рядом это)—парень один, Степка Кудряш, и он пишет в газеты, как корресподент, и недавно два рубля с редакции получил и за что? Меня же, председателя, охаял, что я пьяница. Пиши, говорит, и ты, а мы тебя от сельского общества корреспондентом выберем, как жалеем твое положение.

— Про что ж, говорю, мне писать!

— Вот, говорит, и видно, что ты дурак, и почему тебя бабы обманули. Да пиши про меня, покамест печатают, не все ж на мне чужим людям деньги зарабатывать!

Угостил я его полбутылкой за такой за хороший совет, а он и говорит:

— Пиши, Ваня. Пока я жив, не пропадешь! Я тебе кажинный месяц всяких делов на две десятки натряпаю!

Вот в виду того положения, что я избран сельским корреспондентом, я и пишу полную биографию и потрет и прошу напечатать письмо в отношении председателя Антипа Зубарева под заголовкой: „Долго ли нам терпеть“.

Долго ли нам терпеть.

Много еще в советской власти всевозможных внутренних врагов и элементов, каков есть председатель и он же кулак нашей деревни Антип Зубарев. И вот означенный кровопийца, имеющий жену и двух ребят, записанных в комсомольщики, есть полнейший эксплоататор и пьяница, а масса в его отношении не принимает полной активности, и он на свадьбе у бедняка, гражданина Коровина, той же деревни, так напился, что и стекло разбил. Я и прошу пропечатать означенный факт и еще евоные взятки, как он за каждую наложенную печать незаконно требует, и без бутылки к нему не ходи. И к тому же ищи его по всем шинкам, когда что затребуется. Долго ли нам терпеть такое нахальничанье, и да здравствует советскую власть.

Крестьянин бедняк деревни Горбы Иван Коровин, и просьба подписать, когда напечатаете это письмо Ваня Нарядный.

И если это письмо напечатаете, будет мне облегчение в моем трудном и бедственном положении, если я пишу, лучше чем Степка Кудряш, и этому сам председатель Антип Зубарев есть свидетель, который мое означенное письмо похвалил и говорил, что лучше.

И еще я слыхал, и пишут в газетах, что советская власть устроила разные общества для бедного населения, как авиахим и друг детей, каковым и я хочу быть от своей бедности и вот прошу написать мне, как принимают туда в члены, я хочу в друг детей, и сколько таким членам платят жалованья? И я вам буду еще писать, как имею факты и буду оставаться в ожидании авторского гонорара сельский корреспондент

В ДОМЕ НАПРОТИВ.

БЛОМКВИСТ.

Они домой пришли! Друзья, привет!
Рабочие, бухгалтера, все люди!
Окончен день труда. В конторе книга
спокойно спит, оставлена до завтра,
а в мастерской грозит зубами ночи
станок и неподвижный и немой,
пока рука не тронет рычагов,
чтоб вновь пошли послушные ремни.
Они пришли... Я разве не всеведущ?
Мансардный маг на пятом этаже
я вижу высь и ширь. Сегодня видел,
как облака густели и темнели,
как ветер гнал упрямые деревья,
прогнать не смог, отстал, улегся, стих...
Дымки домов я видел. В вышину
ползли дымки от супов, каш и мяса
медленно к вечерним небесам.
В последнем этаже напротив нас
хозяйка ставила на стол тарелки.
Готово ль все, хозяюшка жена?
Не рассердился б муж! Придя с работы,
он хочет есть и важен и устал.
Кормилец он! А недовольный сын
презрительно качает головою.
Отца и мать покритикует он
с недостижимой книжной высоты,
за стол усядется, однако, с ними.
Смеется дочь и верещит про платье,
и дружно чавкают четыре рта.
Как много нежности! Вот обиход
спокойной дружелюбной простоты,
обиды небольшой, целебных снов,
работы ежедневной и привычной.
Невозмутима жизнь! Война, любовь,
смертельная бессмертная любовь
как далеки от ласковой семьи,
съедающей картошку или кашу
в кругу своем. Но я не верю, нет,
и лжет окошко про уют и кровлю.
Девчонка-дочь к любовнику уйдет.
Он заразит ее. Насмешник, сын
покорно ляжет на французском фронте.
Отец же, благодушный семьянин,
свою жену уныло попрекнет
за много лет и голода и скуки...
Я бедный маг на пятом этаже,
но вижу много я, читаю судьбы
людских семей... Непрочный муравейник!

ОБИЛИЕ ТАЛАНТОВ.

В. Г. ТАН.

Литература с трескучими фразами,
Полными духа античеловечного,
Дайте вздохнуть...

Некрасов.

Я долго искал и спрашивал себя, отчего современная русская литература производит такое двойственное впечатление, — талантливо и вместе противно, правдиво и фальшиво. Хвалишь даже,—я сам хвалил: очень мило,—в том роде, как цыган хвалил мыло, поедая его вместо сала: „Мыло?.. Будет мило, когда гроши заплатил".

Какое обилие талантов и разнообразие отделов.

Я нимало не шучу и не издеваюсь. Талантов, действительно, много. Ну, много не много, а все-таки есть, и новые, а также и старые, полученные по наследству от старого режима. Есть таланты прозаические и таланты стихотворные, нет только одного—литературы.

Будем рассматривать отдел за отделом.

1. Роман кино-историчный об ужасах русского царизма. „Дворец и крепость" Ольги Форш и Щеголева; „Заговор императрицы" Алексея Толстого и Щеголева. Впрочем, это не кино-роман, а пьеса. „Азеф". — Об этом не помню, что́ это, роман или пьеса. И тут, разумеется, два сочинителя, первого опять-таки не помню, но это, несомненно, Толстой, а второй, еще несомненнее, все тот же Щеголев, которого можно было бы вынести за общие агит-исторические скобки.

Зачинщицей этого движения была, как известно, Ольга Форш. „Дворец и крепость" были вначале „Одеты камнем". Но, да простит мне талантливая Шелушея, меня удивляет тот молодой и пылкий энтузиазм, который она проявляет в обличении прошлых пороков. И мне, как участнику прежних событий, хотя бы и скромному, невольно приходит на уста несколько жесткий упрек из чеховского „Упразднили": „Не ты, небось, кровь проливала".

События минувшего — минули, и писать об них надо не в стиле обличений. Ведь это уже несколько поздно. Что́ было бы раньше догадаться! Тогда написал бы и издал бы подпольно и потом бы ответил жандармам. Но задним числом к чему же такой пафос? Писать о минувших временах надо эпичнее и проще, так, как писали свои мемуары Морозов и Фигнер, или хотя бы так, как описывал Лев Толстой Николая Палкина. Писал он с презрением, сквозь зубы, короткими небрежными мазками и в каждом слове слышится явственно и четко: „Все это минуло, минуло".

Когда выкапываешь из земли трупы прошлого, даже сравнительно свежие, надо помнить, что все они уже потеряли свой образ и успели разложиться и теперь просто пахнут,—палачи, но также и герои, жертвы и слепые исполнители. Пройдет еще десятилетие, и могила им выбелит кости, и даже археолог не сможет разобрать, кто был злодей и мучитель и кто благородный страдалец. Уровень одной глубины и общее ложе в земле. Во всяком случае романист не должен быть простым гробокопателем.

Пора, однако, перейти к отделу № 2.

2. Роман кино-политический. Виринея — Сейфуллиной, пьеса-роман. Творения Сейфуллиной выдержали множество изданий, и я покупал их, все, одно за другим. Рассказы попадаются все те же: „Правонарушители", „Молодняк" и опять „Правонарушители".

„Книжный рынок все эти издания поглощает целиком",—как сказано в предисловиях от счастливых издателей. Но я совершенно сбился с толку и путаю заглавия и темы. Где старое и где новое?

Словно иностранные романы „Академии" и „Мысли" в переводах Журавской и Даманской, — даже Пименовой, — двадцатилетней давности, но со свежим клеймом на обложке: „1926".

А если попадается у Сейфуллиной новое заглавие, то содержание все то же, отлитое в стереотип: светлоусый и бритый мужик в солдатской одежде, копия Павла Суслова, и баба гулена—Виринея. Суслов агитнул Виринею. „Глаза их встретились: светлые глаза его потемнели, но не разжигались жаром, как у Вирки, а будто отвердели. И Вирка первая опустила свои".

Материя известная.

Бабель. Пантелеймон Романов.

Леонов, „Барсуки". У Леонова—спасительно бритый солдатский мужик и опять-таки Павел. Как на смех...

Гладков с патетическим романом о возрождении цементного завода (75% довоенной нормы и 105% годового задания). Всеволод Иванов,—был еще недавно широкий и сочный художник. Был, но, кажется, весь вышел.

Иллюстрации к речам, лозунги в диалогах, оживающие цифры Госплана. Но когда Глеб Успенский писал свое знаменитое: „Четверть лошади", цифры его были оригинальны и неожиданны, и оттого поражали. В творениях наших подражателей и внуков Успенского нет ничего неожиданного, и они не поражают. Все идет, как по маслу, соответственно лучшим стекловицам из недавних „Известий". Но и сами стекловицы уже отошли в прошлое вместе со Стекловым, а этот стеклянистый оттенок, мертвенно-живой, остался у наших беллетристов.

И вдобавок решительно все, словно по заказу, описывают те же года—двадцатый, двадцать первый. Если писатель— попутчик, в роде Пильняка, то он

непременно напишет, как он верхом на локомотиве ездил за мукой или картошкой и как его вошь укусила и он заболел сыпняком и непременно умер— дешевле не берут. Если из попутчиков писатель-обыватель, как Лидин, так он все это изобразит еще и в уменьшительном стиле: „сквознячок", „мышиные будни", а если геройская душа вполне комсомольского стиля, то вы непременно узнаете,—как „мы олицетворяли марш Буденного". Вместо провизионки появляются красные, белые, опять красные, зеленые, партизаны, офицерье. Сначала это было довольно интересно, но затем приелось за полной однотонностью.

О том, что случилось в нашей жизни после 1924 года, не пишет решительно никто. Повидимому, геройскую лиру трудно перестроить на будничный лад. А между тем кое-что, несомненно, происходит. Взять, например, эпидемию судебных лицедейств, которые проходят перед нами ежевечерно, занятней, чем кино, на задней странице газет. Ведь это интереснее даже пресловутого Месс-Менда.

„Карточный домик" — полтора миллиона исчезнувших колод, Пляцкий и К° перед народным судом. Показательный процесс. Электромошенники из Электростроя и Электропрома. Тремасс, Волховстрой.

Сколько их, куда их гонят.

Всех и не выгнать, не загнать.

Кооперативная волна, 96% растраченного паевого капитала. По опубликованным итогам — четыреста тысяч червонцев ежемесячной растраты. Это контрибуция не хуже чемберленовских алканий. Оживить эти цифры тоже ведь было бы не лишне. С другой стороны, работа и торговля оживают, несмотря на растраты. Право, такая немудрая пьеса, как „Воздушный пирог", обозрения бульварного типа вроде „Москва с точки зрения" или „Мишка, верти!", захватывают глубже, чем лучшие модные повести.

Бедная наша литература, несмотря на все свое богатство. Событиями являются фантастические анекдоты, как „Рокковые яйца" Булгакова.—Мистер Юз, оставьте наши яйца в покое. У вас есть свои!

„Конец хазы" Каверина в „Ковше" со своим совершенно непонятным „блатным" языком вызывает оживленную полемику: за и против. С одной стороны, как будто легонькая переделка „Петербургских трущоб" Всеволода Крестовского, но по крайней мере зато разбираешь, как шараду.

Мы по хазовкам гуляли
И обначки обчищали.

Поди догадайся, чтó это может значить.

Отдел № 3. Роман международный. Два образца перед нами: роман франко-русский „Жанна Ней" Эренбурга и роман русско-прусский „Города и годы" Константина Федина. Вышло у обоих пребойко; особенно у Эренбурга — бойко канашка пишет, — бойкое перо. Но если всю правду сказать, то роман Эренбурга стоит уже совсем за пределами литературы. И французов таких нет, да и русских таких нет,—Жанна, Андрей и гнусавый Гастон, и тишайший Захаркевич. Захаркевич — удачнее всех. Эренбургу почему-то лучше всего удаются тишайшие чекисты. Я назвал бы все эти человеческие маски фигурами из кино, если бы они не были так неподвижны и безжизненны. Не роман — восковые куклы из дешевого музея. Смешение Диккенса с российским Конан-Дойлем. И сладко и тошнит. И вдруг безобразный Халыбьев, эта контр-революционная психологическая копия Ионы Чеззльвита. Боже мой, как он наляпан! Про эту черноту сказано не плохо по-французски: „Черен, как кофе в желудке у негра в глухую полночь". Но для Халыбьева мало и этого. Такое черное существо я отказываюсь признать даже белогвардейцем. Черного кобеля не вымоешь добела.

Фединские „Города и годы" написаны совсем в другом роде. Во-первых, почему и откуда: „Города и годы?" Ведь только Пильняку разрешаются такие загадочные заглавия. Quod licet Jovi, non licet bovi. В буквальном переводе: „Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку". Пильняк-то, конечно, не Юпитер, да и Федин не бык. Но герои у обоих ездят много в телячьем вагоне.

Насколько роман Эренбурга собран и связан в одно, как кукольный Петрушка, — только дерни за ниточку, и тут тебе выскочит тотчас, кто полагается по штату,—настолько же Фединские дебри развихрены в разные стороны. Посредине зачем-то Гинденбург, постойте, извиняюсь, „генерал фельдмаршал фон-Гинденбург" и кошмарный полутруп, Альберт Бирман, обрезанный снизу и короткий, как боченок, и больничный ординатор в розовом шлафроке.

Довольно талантливо и ярко, но где конец, где начало?

Кто куда и что к чему,
Хоть убейте, не пойму.

А дальше и пошло: русские и немцы, мордва. Андрей Старцев—опять Андрей. Два Павла и два Андрея. Словно двойники. Но в „Двойнике" Достоевского сказано: „Порядочные люди по двое не бывают". И маркграф фон цур Мюлен Шенау, командующий ополчением, друг мордовской свободы, — бывший военнопленный, а ныне начальник белогвардейского отряда.

Воззвание маркграфа к мордве было написано плохими чернилами печатными буквами:

„Русские крестьяне, помогая мордовскому ополчению, вы помогаете сами себе, ибо оно борется с вашими угнетателями, большевиками".

Другие воззвания были написаны на языке эрзя,—учено рассказывает автор. Эрзя—ветвь мордовского. Все это очень хорошо. Но, к сожалению, автор не объяснил, кто переводил эти замечательные воззвания с немецкого на русский и с русского на эрзя и кто их писал на бумагу. И кто их читал. Крестьяне ведь были безграмотны. А Мюлен Шенау по-русски и по-мордовски не знал ни аза. Правда, Федин намекает, что мордва принимала Шенау за бога и даже приносила ему жертвы. Но позвольте уж мне, как этнографу, опровергнуть сию клевету. И что божественного в маркграфе Мюлен-Шенау? Так себе — стрекулист, строганые ляжки.

— Пустили обо мне целую легенду, толком не знаю, какую,—признается герой довольно откровенно.

Без шуток, товарищ Федин, нехорошо обижать беззащитные нации, ведь мордва до сих пор не получила даже автономии, посмотрите на карту СССР—быть может, это из-за вас.

Такая уж „разбойницкая мода" пошла. Вот тоже товарищ Никитин взял и написал целое кино-обвинение на жестокость тунгусов. Правда, картина не пошла, но, пожалуй, в конце концов, она и пойдет, мало ли показывают еще и не такой чепухи, — а тунгусам терпеть.

Нет, как угодно, а я за туземцев горой.

Такова эта пара геройских Андреев и при каждом по интернационалу, собственной авторской работы, франко-германо-российско-мордовско-тунгусскому. Работа не хуже заграничной „Isdelie Paris".

По-моему, уж лучше незлобивый и веселый Месс-Менд. Он так неподражаемо нелеп, что становится даже занятно.

Правда, и тут чуть было не выскочил „Иприт". А может быть, и выскочил, и я прозевал. Цитирую по объявлению: „Иприт" Всев. Иванова и В. Шкловского. Два автора, как в лучших щеголевских пьесах. Роман в девяти выпусках. Приключения братишки матроса Петьки Словоохотова в разных странах, на суше, на море и в воздухе.

Словоохотные авторы.

Месс-Мендом кончается современная литература. Впрочем, виноват, остался еще один отдел: роман фантастический. Иначе, куда бы мы дели Алексея Толстого?

Алексей Толстой опять-таки талантлив. В прошлом он умудрился открыть на Волге дикого помещика, да такого, каких и Щедрин-Салтыков не описывал. Где они теперь, эти степные дворяне, которые дрались за пришлую женщину совсем, как папуасы. Мы вспоминаем их этнографически, как некое исчезнувшее племя, вроде ятвягов или мери.

Таково прошлое Алексея Толстого, но где же его настоящее? Я, впрочем, готов его хвалить именно за то, что у него нет настоящего, что он погружается и перегружается из прошедшего в будущее.

Итак, из прошедшего у него „Полина Гебль", напечатанная в нашем журнале. А из будущего у него „Аэлита". А впрочем, и эта „Аэлита" из будущего как-то неприметно съехала в прошлое и даже помещается там рядом с Пильняком на полочке воен-коммунизма.

Русские на Марсе. Гусев, российский армеец, угодивший прямехонько на небеса. Эк, его занесло. Он всех побеждает один.

„Турки валятся, как чурки, а наши без голов стоят да табачок покуривают".

А впрочем, это русская сказка о солдате, угодившем в рай или в ад и сумевшем и в аду навести российский армейский порядок.

Атлантида на Марсе,—далась же эта Атлантида! Атланты перенеслись на Марс в бронзовых яйцах, пользуясь взрывчатой силой семян. *Новый динамит* из семян.

> У студента под конторкой
> Нашли баночку с касторкой,
> Удивился весь синклит,
> Порешили: динамит.
> Динамит, не динамит,
> А, случается, палит...

Песня эта старая. В то время ищейки были глупые. Пора быть умнее.

И в заключение призыв:—Где ты, где ты? Через всю вселенную голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, *летит, призывая, клича.*

Подлинный Виктор Гюго — хотя бы Эренбургу впору.

Сделав краткое обозрение этой новой литературы, я с удивлением вижу, что это литература не новая, а старая, те же все старые школы, духовные дети Серафимовича, Гусева-Оренбургского, даже Потапенки и, конечно, Вербицкой и Нагродской, подражатели Диккенса и Виктора Гюго и Жорж Занд.

Одна и та же старая русская литература и здесь и за-границей. Политически друг друга ненавидят, но приемы и навыки одни.

И даже, когда Бабель в каком-нибудь сгущенном монологе выражается приблизительно так:—И вот я собственноручным взглядом смыл ее с лица земли из своего верного винта,—то все эта старая живопись. И этот самый „собственноручный взгляд" был пропечатан задолго до революции.

Не новая, а старая литература. Беда в том, что старая литература умерла. Она умерла дважды трагической смертью еще до революции. Старшее поколение умерло со Львом Толстым, в Астапове, в снегу, в попытке последнего бегства от властной судьбы. А младшее поколение умерло с Леонидом Андреевым в Нейвало: „Анна, мне худо", — схватился за грудь и упал.

Умерли оба, и Лев и Леонид — даже имя одно. Только Леонид стилизованно и остро, как весь стилизованный Андреев.

Жестокие трагические смерти, в своей роковой безвыходности полные мрачного величия. И это величие смерти созвучно оборванной традиции искусства. Словно стена обвалилась. Два прыжка в отвесную пропасть. И точка. Конец.

Умер не только Андреев. Умерла его проза, „Бездна" и „В тумане". Умер и андреевский театр. Пусть попытается Качалов выйти на подмостки и, извиваясь своим гибким телом, застонать томным тенором Анатэмы. Пусть попытается только... Пожалуй, даже не засвищем, а просто засмеемся.

Старая литература умерла, ибо она стала невозможной и ненужной. Правда, живут за-границей развенчанные короли, Мережковский, Куприн, но как отличить литературные величества от величеств дворцового ведомства. Где кончается император Кирилл и где начинается Бунин? Кто назовет их живыми, хотя и доныне они протирают ботинки о панель и переваривают конские котлеты. Мир праху их! Мережковский, кажется, умер и взаправду. De mortuis nihil. Молчок о покойниках.

Но отсюда вытекает наш современный разнобой, скудословие и неувязка. Мертвое давит на живое. Не *знаем*, как *подойти к предмету по иному*, по-новому и долго еще не узнаем, будем питаться крохами с чужого стола, выкраивать острые шапки из старой бумаги и с важным видом нахлобучивать на собственную голову. В 1919 г. в Льва Толстого завертывали селедку, ныне из него же примеряем дурацкий колпак.

Был, правда, один, упавший как будто из внешнего мира, „стареющий юноша", Блок, витязь и лебедь Лоэнгрин, горевший мистически холодным огнем,—лунною тенью солнечного Пушкина.

Он отказался от старого воздуха, а нового ему не хватило: и он задохнулся и выпал из жизни, погас внезапнее, чем вспыхнул. Он один не старый, но, правда, и не новый. Он промежуточный, ничей.

Есть, разумеется, и еще имена: Горький и Белый, Замятин и даже Вересаев. Все это живое наследство от той же покойницы литературы. Те, кто не умерли, живы. Таков закон природы: даже на войне от удушливых газов не все умирают.

Горького трудно понять. Его прошлое, конечно, перешло в историю: „Фома Гордеев" такой же исторический роман, как тургеневский „Рудин". Тоскливое „На дне" в новой обстановке заменилось зловещим „Концом хазы".

Но сам Горький из прошлого вышел, а потом никуда не вошел. Остался за гранью, даже просто за границей. Сидит и сочиняет обстоятельные мемуары. Мемуары выходят прекрасные, но когда же это кончится? Ныне, по слухам, он сочиняет и новый роман. Боюсь, не вышел бы роман нравоучительный, ибо все, что Горький ни писал за последние годы, даже самое талантливое, звучало не то обличением, не то поучением для низких, для толпы.

Замятину я готов простить многое за несколько выпусков „Русского Современника", ибо он кстати припомнил наш первый независимый журнал. И Онуфрий Зуев одной породы с Кузьмой Прутковым и Конрадом Лилиеншвагером.

Чутье у Замятина звериное. Действительно, нам нужно воскресать от самого начала, от Добролюбова, от „Искры" [1]), от „Свистка".

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен,
Но зато родному краю,
Верно, буду я известен.

Как это хорошо. Так искренно и просто!
Или из „Свистка" про Москву:

Мудреный град! Там Павлов Соллогуба,
Байборода Крылова обличил.
Там Бонапарт был поражен сугубо,
Там сам себя Чичерин поразил.

Но и этот Чичерин опять-таки не тот, молодой, а старый профессор, дедушка или внучатный дядюшка современного наркома.

Старое наследство также и в литературе не может заменить новое приобретение.

Сказано давно: литература, как пышный цветок, вырастает на навозе. Но мы еще мало нагадили, своего чернозема еще не протерли на жуткий гранит революции. Чернозем протирают кольчатые черви сквозь собственный желудок миллионами черных кренделечков. Но без чернозема искусству не в чем корениться, не из чего по-новому расти.

Вот отчего эта вечная тоска и метание самых талантливых. Дело не только в халтуре и в скудных гонорарах и в жуткой и неверной атмосфере. И не оттого повесился Есенин, что малого в конец заласкали или в конец затравили,—ведь это одно-на-одно,—в Америке на берег не пустили, в России попросту споили малого. Он погиб оттого, что в груди не рождалось настоящего голоса, и жизнь не откликалась и не давала резонанса.

Художники—чуткий народ. В „Творчестве" Зола от такого же невыявленного творчества повесился художник Клод Лантье.

Удивительно то, что рядом с литературой, немощной и худосочной, театр, несомненно, растет. Не кино, а театр. Кино заболело собачьей старостью и похоже на инсценизацию раешника, на „Небылицы в лицах" в 8 частях из старого репертуара. Нет, именно театр растет без всяких пьес. Ибо даже „Пугачевщина" Тренева преисполнена жутких провалов, а ведь это, пожалуй, лучшая пьеса за последнее трехлетие.

Искусство вообще имеет различную судьбу. Живопись со скульптурой впали в полную прострацию. Илья Гинзбург не имеет заказов, сокращен из Академии Худ. (не худой, а Художеств) и числится в безработных. Даже и поверить трудно.

А музыка делает полные сборы. Виртуозов своих не хватает и попрежнему ездят заграничные гости. И на Гофмане какой-то аферист успел заработать не хуже, чем в „Карточном Доме" и даже под суд не попал.

Новый театр не только растет, но даже разветвляется. Мейерхольд развернул перед нами очевидную графику. И первый Художественный—прямую акварель. А МХАТ 2, даже помимо своей воли, посягает на сочное масло.

Принцесса Турандот раскололась живыми кусочками, и все они скачут по сцене, как веселые лягушки, и тычутся в нос ошарашенному зрителю:—видали, как скачут лягушки? Видал миндал? Жив театральный курилка.

Как далеко остались позади недавняя Вампука, завывания Александринки, меланхолия „Иванова" и „Чайки".

Был вчера в ленинградской Мариинке и видел „Псковитянку". Поставлена по-старому, нелепо. Вече тягуче, как старая резина. И нападение вольницы на шатер Грозного поставлено за сценой. Следовало бы, конечно, развернуть его на сцене, как Чехов устроил в Гамлете с вторжением Лаэрта во дворец.

Но ведь это ленинградская традиция, не московская дерзость. После великих актеров минувшей эпохи, Станиславского, Давыдова, Варламова, Шаляпина мы получили и новый талант, несомненно, созвучный революции. И как хорошо, что он называется Чехов и приходится племянником Антона, ведь и МХАТ 2 состоит в племянниках у Первого Художественного.

Вот он стоит пред нами, этот любопытный артист, неврастеник и вместе разрушитель, как вся наша безумная эпоха. Голос его надорван еще до крика, но все же раздается, как львиное рыкание. В своем небывалом Гамлете, который превратился в Рылеева, в нудной фигуре Аблеухова-отца, сочетавшей куски Победоносцева, Горемыкина и Плеве, Чехов являет перед нами неожиданные лица.

---

1) „Искра"—сатирический журнал шестидесятых годов.

В новой литературе не найдешь ничего неожиданного. Но в театре появилось неожиданное, т.-е., действительно новое.

И даже приемы чеховского творчества не похожи на прежнюю школу. Он играет стихийно и просто, без всякой школы, вернее, перейдя через предел школы. И роли воплощает совсем по-иному. Он до конца не перевоплощается и в сущности играет лишь самого себя. В старческой фигуре Аблеухова-отца, под гримом, легко узнаю лицо и фигуру артиста, в сухом голосе сановника слышу знакомые хрипы.

В этом намечается и путь для нового творчества. Надо быть по-новому простым, быть только самим собой. Ибо эпоха полна содержанием, а искусство—это душа эпохи. Надо прислушиваться не к тому, что вне нас, а к внутреннему голосу, к тому, что уже отложилось, превратилось в звуки и краски. Надо не искать, а дерзать, дерзать быть самим собою. Не заданий просить, не подлаживаться, не темы получать у эпохи, у класса, или просто у начальства, а напротив отдавать. Раньше получали. Теперь надо отдавать. Не ждите камертона в руках дирижера и набата не ловите. Сами будьте камертоном и, если нужно, набатом. В этом, должно быть, и будет закон грядущего искусства.

Театр возрождается, проходя сквозь тесные врата, в стократ теснее литературных ворот, но все же идет, а литература питается падалью и никнет.

Великая русская литература перестала на время быть великой. Она омоложена некстати, и этот новый Фауст наизнанку похож даже не на комсомольца, а на безбожника-семинариста.

Я заключаю отсюда, что нам предстоит и в искусстве эпоха большая, первозданная, ибо новое искусство всегда начинает с азов, с музыки, с пластики, с балета, продолжается драмой и рано или поздно переходит и к роману и повести. Греческий театр тоже был зачинателем литературы.

Новый театральный курилка живет. Курилка беллетристический тоже не умер. Он просто еще не родился.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ФРАГМЕНТЫ.

Из книги „Современное женское творчество".

ЯК. БРАУН.

1. „Ключи... несчастья".

Вряд ли можно найти лучшую иллюстрацию несовпадения понятий „революционер в политике" и „революционер в искусстве", чем беллетристическая диверсия А. Коллонтай, дебютировавшей книгой рассказов „Любовь пчел трудовых".

Вот уж поистине: путь от двух сот тысяч до четвертака, от подлинной революционной публицистики к фальшивому четвертаку псевдо-революционной беллетристики.

Художественная задача, себе поставленная А. Коллонтай, более чем почтенна: бытописать, как сказано в подзаголовке, „революцию чувств и революцию нравов".

Вопросов много, материала, наваленного в книгу, *хватило бы на десять настоящих беллетристов*, сюжетные ситуации острейшие, благодарнейшие, ума палата, проблемы одна другую перекрикивают, а все же... „дерут, дерут, а толку нет" — и (вспоминается Дмитриев) —„и сердца, так сказать, ничуть не шевелит"...

Превосходна, необычайна тема „рассказа" „Любовь трех поколений". Бабушка, мать и дочь воплощают три стиля любви, три формы половой морали.

Первая — тип культурницы 90-х годов прошлого века — знает лишь любовь, так сказать, л и н е й н у ю, с моралью однолюбия, честным разрывом с разлюбленным мужем и т. д.

Вторая, представляющая старшее поколение наших дней, 40-летняя коммунистка-„хозяйственница", Ольга Сергеевна Веселовская, уже вступает в полосу трагических эмоциональных кризисов и разломов, познает в молодости заколдованный к р у г расщепленной, раздвоенной любви — женски-товарищеской к ссыльному социал-демократу и женски-половой — к буржуазному инженеру М., мечется по кругу, ища утерянную цельность, переходит от ссыльного к инженеру, а от инженера к ссыльному, пока не теряет обоих, и лишь через много лет успокаивается на третьей встрече с рабочим большевиком Андреем.

Ее дочь, комсомолка Женя, и вовсе срывается с колеи линейной и из круга расщепленной любви по спирали безлюбых мимолетных половых связей, благо ей некогда влюбиться: „у нас в районе сейчас такая ответственная полоса". Она одинаково беспечно сходится одновременно со своим отчимом, третьим мужем ее матери, и с „товарищем Абрашей" — „пусть приучаются, что я ничья", беременеет, не зная, от кого из двух, не влюбляясь при этом *ни в Андрея, ни в Абрашу... Коллизия*, как видите, потрясающая.

„...Я не вижу тут ни страсти, ни чувства... Вообще что-то холодно-рассудочное. Точно старики... Никаких эмоций...— горестно возмущается мать, обманутая собственной дочерью.—...Что же это за любовь, посудите сами, когда наносят такую рану и наносят играючи, даже без раскаяния, без сожаления!.. Нет, тут какая-то глупость, черствость души... Какая-то холодная уверенность в своей правоте и утверждение своих прав — срывать радости, где и как бы они ни встретились... Тут нет тепла, нет самой элементарной чуткости к другому и доброты... Какие же они после того коммунисты?".

Но Женя, обожающая мать, считает ее воззрения мещанскими, обывательскими, мера ее горького разочарования в матери не меньшая, чем мера скорби

Ольги Сергеевны: они разговаривают друг с другом на языке вавилонского столпотворения.

„Где граница близости?"— негодует Женя"—„И почему мы можем вместе переживать, вместе забавляться, а целоваться не можем?.. Тебе же все равно некогда с ним (Андреем) целоваться?..

Не менее благодарна фабула рассказа „Сестры", в центре которого — работница, ощутившая себя „сестрой" голодной проститутки, приведенной к ней в дом пьяным мужем, или сюжет третьей, длиннейшей и водянистейшей истории „Василисы Малыгиной", бытописующей борьбу, интимно-семейную и социальную, между работницей-коммунисткой и ее мужем, американизированным большевиком-хозяйственником Владимиром, погрязшим среди искушений „самоокупаемости" и нэпа. Владимир отрывается от партии, живет на широкую ногу, держит на стороне вторую жену Нину Константиновну, прижимает рабочих, а неутомимая Василиса подымает *против него грузчиков. Сталкиваются, как враги,* „цапаются" и в интимной и в общественной своей жизни, и даже краткие свои примирения сопровождают такими примерно репликами:

Василиса—„А не будешь больше директорствовать?".

Владимир:—„А не будешь грузчиков против меня поднимать?".

Финал их „классовой борьбы": беременная Василиса уходит от мужа назад на фабрику, ребенка готовится вырастить в „организации", в яслях, а Владимира отпускает с миром к аристократке Нине Константиновне.

Все эти большие сюжетные узлы завязаны однако, такими атласными институтскими бантиками, что у читателя возникает неодолимое желание еще раз поглядеть на титульный лист: что там,„— Ключи... несчастья", или „Любовь пчел трудовых"? И кто этот паточный пчеловод: граф де-Амори? мадам Вербицкая? „душка" Чарская? Ежели, Коллонтай так уж не спутала ли эта „однофамилица" публицистки Коллонтай нравы Смольного Института послереволюционного со Смольным пансионом благородных девиц дореволюционным, а кожаные куртки — с камлотовыми юбочками, рюшиками, буфами и кружевными передниками?

Работница в рассказе „Сестры" также пускает слезу, конечно же, „алмазную" (ах, нельзя ведь без алмазной! У душки Желиховской и у графини де-Сегюр целые рудники „алмазных слезинок"!).

„Душка" Василиса Малыгина живет, само собою разумеется, в „светелке", и—ах, как там хорошо!— вы только послушайте:

„...весна глядит в окошко в светелку Василисы. Под самой крышей. И вместе с горячим солнышком заглядывает голубое небо, с клубящимися облаками. Белыми, нежными, тающими...

...Почки еще только наливаются. Весна запоздала, а все-таки пришла, „голубушка".

А уж как сладко ехать Василисе „к желанному, милому, к мужу-товарищу! „И уж как не жалеет автор патоки и сахарину, уговаривая поезд „не жалеть пара":

„Скорее, поезд, скорее!.. не жалей пара!... Ведь везешь ты горячее, истосковавшееся женское сердце! Везешь в подарок любимому. Васины карие глаза, Васину крепко любящую чуткую душу".

Далее начинается размножение почковатых мятных лепешек и потертых пятаков—целые столбики штампованных лепешек и пятачков: конечно, у Василисы „тоска к сердцу подкатила", „клещами холодными сердце сжато", „в горле склубились безотчетные слезы", и даже—куда уж тут мадам Чарской! —„холодный комок тоски, что к сердцу подступил, со слезами на новую юбку костюма вылился".

Не пожалев ни пара, ни мятных лепешек, беспощадный автор не жалеет и „новую юбку костюма" своей героини! Разочарование Василисы, драматические коллизии между ней и Владимиром выписаны все тем же журчащим, как „алмазная струйка", пером. У Владимира, понятно, „глаза искры мечут", и с криком: „погибать—так погибать!" оскорбленный *подозрениями жены мелодраматический злодей-хо*зяйственник „так по столу хватил, что ваза-то с сиренью набок... На пол попадали, рассыпались пахучие лиловые грозди, алмазной струйкой по шелковой скатерти стекает вода".

Верно, все из этой же вазы с пахучими гроздьями и лиловыми струйками выползает и „змейка ревности", чтобы внедриться в чувствительную светелку сердца героини. Ах, „змейка", ну, и змейка же: всем вербицким „змейками" в празмейки годится! И что за потрясающие пируэты выделывает она в сердце пастушки... то бишь, работницы Васи:

„...змейка ревности уже сразу у сердца клубком свернулась, язычком ядовитым пошевеливает"...

„...Змейка ревности языком ядовитым сердце лижет".

„...Как змейка ревности все сердце исколола".

„...А змейка-то обрадовалась. Вьется вокруг сердца, сосет... Языком пощипывает... Нет Васе покоя!.. Больно Васе. Тоска душит. Змейка сердце обвила".

Ну, уж зато и отомстила Вася „змейке", уйдя от мужа к прежней рабочей жизни. „Стук-стук! Стук-стук!" — стучит Вася в двери „своей прежней светелки" „Стук-стук!"— стучат к Васе снова за советом и лаской жители дома-коммуны. Так змейку и пристукали. „Где же змейка-мучительница? Нет змейки... Догорел уголек любви-страсти".

И—стук!—танцуют под занавес институтки в пелеринках и бантиках... То-есть, собственно, не институтки, а работницы Василиса с Грушей:

„Схватила Грушу за руки. Закружились, будто малолетки, по комнате. Чуть манекен не опрокинули.

Хохочут, во дворе слышно.
Жить надо, Груша! Жить!
Жить и работать.
Жить и бороться.
Жить и жизнь любить.
Как пчелки в сиренях!
Как птицы в гуще сада!
Как кузнечики в траве!

О, Чарские и Вербицкие всех стран соединяйтесь! Но, и соединившись, знайте: больше птичек, сирени и кузнечиков вам на борьбу со змейками не мобилизовать! Ведь у Коллонтай мобилизация алмазных струек и лиловых гроздьев проведена, так сказать, „в ударном порядке!". Вот что значит пустить в ход в „задушевном слове" для детей старшего возраста некоторые ударные публицистические приемы!

Коварные фокусы проделывает над писателем художественная форма! Особенно в наши дни, когда стены старых форм стали дырявы. Захотела А. Коллонтай восславить „революцию чувств", а форма посмеялась над ее хотением—и вышла, так сказать, „чувственная контр-революция". Захотела написать серию рассказов, а получилась шеренга сереньких „статей с картинками".

2. Луна в переднике.

Уверяю вас: когда старик Державин писал Фелице—

„Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад"...

он разумел под Фелицей совсем не Екатерину Вторую, но поэтессу Веру Инбер.

Старик-пророк, как ни был он приметлив, что засвидетельствовано еще Пушкиным, не мог, правда, предвидеть всех тонкостей вкуса своей одесской пра-правнучки,— иначе он, без всякого ущерба для своих стихов, заменил бы „лимонад" не менее приятными и сладостными рифмами: ну, скажем, „виноградом" или „шоколадом".

Виноградно-легка, виноградно - приятна поэзия Веры Инбер. Не напрасно молила она у „господа":

„...дай моим размерам и словам
Упругость яблока и сладость
винограда".

„Господь, благожелательный к трудам", внял ее молитвам — и вся жизнь представилась ей виноградной рощей иль фруктовым садом.

Она и „друга-учителя" своего призывает:

Мечтай со мной под яблоней цветущей,
И в свежий полдень виноград дави..."

И в жизни путает колени с яблоками —

„Мои колена смугло розовеют,
Как яблоки в траве".

Все на свете, поверьте поэтессе, „благостно", „радостно", „сладостно", „хорошо", „уютно".

„Милый, будем до могилы
Трудиться прилежно,
Любиться нежно,
В этом вся отрада,
А больше ничего не надо.

Приключаются на земле и „страшные" вещи"! Вот например.

„...страшен звук из темной глуби сада,
Вещающий падение плода".

„Страшны" еще, „горьки и „печальны" заглавия книг стихов Веры Инбер: „Печальное вино" (1-я кн.), „Горькая услада" (2-я кн.), „Бренные слова" (3-я кн.).

Настоящая „стихия" Веры Инбер, (если только стихии способны разыграться в стакане кипяченной воды) — это мир домашности, комнатного уюта кухонные серенады и—без иронии—подлинная кулинарная поэзия.

Я думаю, если бы гоголевской Пульхерии Ивановне пришла в голову великолепная мысль — изложить в стихах свои хозяйственные соображения в связи с текущим сезоном сушений и варений, она написала бы, примерно, следующее:

„Дожди упали. Листопаду
Уже начаться суждено.
На рынках много винограду,
И будет дешево вино.
Тяжелых яблок ароматен
Румяно-восковой налив,
И был сей год благоприятен
Особо для французских слив.
Крута капуста, слава богу,
Как мелкое руно овцы,
Салат кудряв, и лишь немного
Горчат, как будто, огурцы".

Но так как Пульхерия Ивановна поэтическим талантом не обладала и к тому же была поглощена тяжелым вопросом о том, не продавил ли стул и не объелся ли кулебякой Афанасий Иванович, то за нее, Пульхерию Ивановну, и еще за миллион таких же Пульхерий выступила хлопотливая муза всех рачительных хозяек (я думаю, она в переднике, в кружевной наколке, с кухонным полотенцем через плечо и с кастрюлькой, вместо лиры, в руках) — муза Веры Инбер.

Поэтесса и сама отлично знает, что ее призвание—„повествовать неторопливо".—

„Об осени, о добрых овощах,
Которые крупны уже на диво".

Ее муза степенно похаживает мимо полной чаши дома Пульхерии Ивановны, в пределах знаменитого частокола, за который не перелетали ни курицы, ни мысли хлебосольной домохозяйки, и не спешно распевает кулинарные оды и огородные серенады:

„Здоров и полон пчелиный дом;
Свежо и круто вьется хмель на тыне,
И на широком ложе земляном
Великолепные арбузы и дыни"

И так далее без конца.

Да не подумает читатель, что в этом домашнем комнатном мирке ничего не деется, кроме произрастания арбузов и дынь, яблок и винограда, фикусов и гераней.

О, Вера Инбер умеет виртуозно, с тонким идиллическим юмором рассказать о маленьких романах и даже „трагедиях", разыгрывающихся среди комнатного и кухонного населения: о влюбленной кошке, сбежавшей (ах, не та ли это кошка, что вдруг пропала у Пульхерии Ивановны?)... сбежавшей с фокстерьером в Чикаго или Дублин, отчего—

„...Ровно, ровно через год
У них родился фоксокот",

о зимней мухе, с которой приключилось „головокружение от длительного сна"; о еже (или о ежихе?), увидевшем внезапно закадычного друга-поросенка— под хреном; о маринованном омаре, влюбленном в усатую креветку...

Она находит поэтические образы и для передачи юмора комнатных вещей. От Инбер мы впервые узнаем, что —

„Поздно ночью у подушки,
Когда все утомлены,
Вырастают маленькие ушки,
Чтобы слушать сны“.

Но Вера Инбер, несмотря на своеобразный юмор и несомненный дар в воплощении мещанского комнатного мирка, совсем не была бы поэтессой, а тем более, нашей современницей, если бы ее не тянуло к мирам иным от сонных мух и огуречного сока. Небесные сферы устроены по образу и подобию обыкновенного огорода или кухни, но понятно в соответственно больших, вселенских размерах.

Да, да, не удивляйтесь: превкусный Кухонный Космос!

Ну, кому же не известно, что—

„В Медведице, серебряной кастрюле,
Варится млечный шоколад.
Благоухает он тепло и сладко,
И в голубом переднике луна
Его сверлит алмазною лопаткой,
Чтобы сварился он до дна“?

Дело у Инбер не обходится без влияния Ахматовой, переходящего подчас в прямое подражание. Разверните, напр., стр. 39-ю „Бренных слов“ Инбер и стр. 13-ю ахматовских „Четок“ (стих. „Вечером“). Вы прочитаете:

У Ахматовой:	У Инбер:
Звенела музыка в саду Таким невыразимым горем. Свежо и остро пахли морем На блюде устрицы во льду... и т. д.	В бреду, в огне, в жару и лихорадке Виолончель поет. На скатерти в полночном беспорядке Сигары, розы, лед. Во льду вино... и т. д.

Впрочем, там, где Инбер вступает в шкатулку своего комнатного мирка и малого юмора, влияние Ахматовой резко ослабевает, уступая место эпической библейской стилизации (см., напр., „Бр. сл.“, 44: семикратно повторенное библейское начало с союза „и“), а еще чаще наиболее характерной для Инбер стилизации детских стишков, с присущей им нарочитой наивностью, прибауточкой, игрушечной сказочностью.

Многие и многие ее новеллы, особенно о приключениях вещей и животных, хочется сравнить с „рассказами веселого Буша“ („Плуш и Плим“ и др.).

Вера Инбер—большая мастерица этой маленькой легкомысленной формы. И с полным правом могла бы она повторить о себе слова Ш. Бодлера: „mon verre est petit, mais je bois de mon verre“. (Стакан мой мал, но я пью из своего стакана“).

Впрочем, в переводе на язык Веры Инбер это звучало бы, вероятно, иначе:

— „Моя кастрюлька невелика, но я ем из своей кастрюльки“.

Так и полагается рачительной хозяйке.

Но когда „постовой“ критик Лелевич в припадке *„классовой“ бдительности жестоко попрекает* Веру Инбер за то, что ее четвероногий Сеттер-Джек „совершенно не понимает происходивших событий“ (ах, что за контр-революционеры эти инберовские собачки!), а справедливо этим возмущенный А. Воронский, в приливе не меньшего пафоса, провозглашает Инбер одним из „корифеев“ наших дней (тотчас же вслед за Бабелем и Казиным и впереди Горького и Пришвина! [1]),— не подымают ли они слишком большую бурю в слишком маленькой, пускай отлично варящей, кастрюльке?

БИБЛИОГРАФИЯ.

Ф. Гладков.—Цемент. Нашумевший роман не имеет, строго говоря, ни фабулы, ни интриги. Действие происходит в южном, повидимому, городе в начале нэп'а. Герой романа коммунист Глеб возвращается с гражданской войны и пускает в ход бездействующий цементный завод. Замысел автора—показать пафос строительства в его буднях. Эта крайне трудная художественная задача вряд ли удалась молодому автору, склонному по форме к старому бытописательству. Другая задача Гладкова—показать новое в отношениях между мужчиной и женщиной. Но что нового в отношениях Глеба и его жены, Даши Чумаловой? Даша и любит и не любит Глеба, и любит и не любит Бадьина, отдается и тому и другому. Автор считает, что из каких-то высших соображений и идей, а читатель склонен думать—по обыкновенному чувственному капризу:—„надстройки“ не убедительны. В романе есть и хорошие места, например, партийная чистка. Но художественную сцену портит описание чистки Даши, этой столь излюбленной автором героини,—описание ходульное и неискреннее. Фигура спеца, приобщившегося к советскому строительству,—схематична. Сам Глеб, оживающий на некоторых страницах, во всем романе выглядит, как выставляемые в провинциальных городах памятники борцам за коммунизм,—гипсовые или цементные... Бывают ли цементные? Гладков своим романом доказал, что бывают.

Джон Гэлсуорси.—Первые и последние. С англ. Изд. „Мысль“, Л. Книга содержит несколько рассказов. В первом брат английского судьи убивает мужа своей любовницы. Убийца сообщает о преступлении брату, и тот помогает ему скрыть убийство, убеждает бежать заграницу. Но убийца под конец оказывается благороднее своего высоконравственного брата. Когда наказание грозит мнимому убийце, он кончает с собой и в предсмертном письме признается в убийстве. Письмо находит брат-судья и, чтобы оградить честь своего имени, уничтожает обличающий документ.

Остальные рассказы еще скучнее, еще более нафаршированы тошнотворным английским „моралином“.

[1]) „Кр. Новь“ 1924, № 5, А. Воронский — „Полемические заметки“, стр. 312, 314.

Редактор: **И. Лежнев.** Издатель: **Кооперативное Т-во „НОВАЯ РОССИЯ“.**

Главлит № 55935. Тираж 10.000

Типография Госиздата „Красный Пролетарий“. Москва, Пименовская, 16.

50 коп.